

СЕРГЕЙ
ДОВЛАТОВ

*Соло на ундервуде
Соло на IBM*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Annotation

Художественная мысль Сергея Довлатова при видимой парадоксальности, обоснованной жизненным опытом, проста и благородна: рассказать, как странно живут люди — то печально смеясь, то смешно печалась. В его книгах нет праведников, потому что нет в них и злодеев. Писатель знает: и рай, и ад — внутри нас самих. В России Довлатов — один из самых устойчиво читаемых авторов. Его проза инсценирована, экранизирована, изучается в школе и вузах, переведена на основные европейские и японский языки.

«Соло на ундервуде» и «Соло на IBM» — основа основ довлатовского творчества. Собрание смешных и грустных фраз, ситуаций, образов, в разное время увиденных, услышанных, отмеченных писателем. Читая эту книгу, вы входите в мастерскую Довлатова. И этим, возможно, она ценней иных, самых известных его произведений.

-
- [Сергей Довлатов](#)
 - [Соло на ундервуде](#)
 - [Соло на IBM](#)
-

Сергей Довлатов

Соло на ундервуде. Соло на IBM

Соло на ундервуде

Вышла как-то мать на улицу. Льет дождь. Зонтик остался дома. Бредет она по лужам. Вдруг навстречу ей алкаш, тоже без зонтика. Кричит:

— Мамаша! Мамаша! Чего это они все под зонтиками, как дикари?!

Соседский мальчик ездил летом отдыхать на Украину. Вернулся. Мы его спросили:

— Выучил украинский язык?

— Выучил.

— Скажи что-нибудь по-украински.

— Например, мерси.

Соседский мальчик: «Из овощей я больше всего люблю пельмени...»

Выносил я как-то мусорный бак. Замерз. Опрокинул его метра за три до помойки. Минут через пятнадцать к нам явился дворник. Устроил скандал. Выяснилось, что он по мусору легко устанавливает жильца и номер квартиры. В любой работе есть место творчеству.

— Напечатали рассказ?

— Напечатали.

— Деньги получил?

— Получил.

— Хорошие?

— Хорошие. Но мало.

Гимн и позывные КГБ: «Родина слышит, родина знает...»

Когда мой брат решил жениться, его отец сказал невесте: — Кира! Хочешь, чтобы я тебя любил и уважал? В дом меня не приглашай. И сама ко мне в гости не приходи.

Отец моего двоюродного брата говорил: — За Борю я относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме!

Брат спросил меня:

— Ты пишешь роман?

— Пишу, — ответил я.

— И я пишу, — сказал мой брат, — махнем не глядя?

Проснулись мы с братом у его знакомой. Накануне очень много выпили. Состояние ужасающее.

Вижу, мой брат поднялся, умылся. Стоит у зеркала, причесывается.

Я говорю:

— Неужели ты хорошо себя чувствуешь?

— Я себя ужасно чувствую.

— Но ты прихорашиваешься!

— Я не прихорашиваюсь, — ответил мой брат. — Я совсем не прихорашиваюсь. Я себя... мумифицирую.

Жена моего брата говорила: — Боря в ужасном положении. Оба вы пьяницы. Но твое положение лучше. Ты можешь пить день. Три дня. Неделью. Затем ты месяц не пьешь. Занимаешься делами, пишешь. У Бори все по-другому. Он пьет ежедневно, и, кроме того, у него бывают запои.

Диссидентский указ: «В целях усиления нашей диссидентской бдительности именовать журнал «Континент» — журналом «Контингент»!»

Хорошо бы начать свою пьесу так. Ведущий произносит:

— Был ясный, теплый, солнечный...

Пауза.

— Предпоследний день...

И, наконец, отчетливо:

— Помпеи!

Атмосфера, как в приемной у дантиста.

Я болел три дня, и это прекрасно отразилось на моем здоровье.

Убийца пожелал остаться неизвестным.

— Как вас постричь? — Молча.

«Можно ли носом стирать карандашные записи?»

Выпил накануне. Ощущение — как будто проглотил заячью шапку с ушами.

В советских газетах только опечатки правдивы. «Гавнокомандующий». «Большевицкая каторга» (вместо — «когорта»). «Коммунисты осуждают решения партии» (вместо — «обсуждают»). И так далее.

У Ахматовой когда-то вышел сборник. Миша Юпп повстречал ее и говорит:

— Недавно прочел вашу книгу.

Затем добавил:

— Многое понравилось.

Это «многое понравилось» Ахматова, говорят, вспоминала до смерти.

Моя жена говорила: — Комплексы есть у всех. Ты не исключение. У тебя комплекс моей неполноценности.

Когда шахтер Стаханов отличился, его привезли в Москву. Наградили орденом. Решили показать ему Большой театр. Сопровождал его знаменитый режиссер Немирович-Данченко. В этот день шел балет «Пламя Парижа». Началось представление.

Через три минуты Стаханов задал вопрос Немировичу-Данченко:

— Батя, почему молчат?

Немирович-Данченко ответил:

— Это же балет.

— Ну и что?

— Это такой жанр искусства, где мысли выражаются средствами пластики.

Стаханов огорчился:

— Так и будут всю дорогу молчать?

— Да, — ответил режиссер.

— Стало быть, ни единого звука?

— Ни единого.

А надо вам сказать, что «Пламя Парижа» — балет уникальный. Там в одном месте поют. Если не ошибаюсь, «Марсельезу». И вот Стаханов в очередной раз спросил:

— Значит, ни слова?

Немирович-Данченко в очередной раз кивнул:

— Ни слова.

И тут артисты запели.

Стаханов усмехнулся, поглядел на режиссера и говорит:
— Значит, оба мы, батя, в театре первый раз?!

Как известно, Лаврентию Берии поставляли на дом миловидных старшеклассниц. Затем его шофер вручал очередной жертве букет цветов. И отвозил ее домой. Такова была установленная церемония. Вдруг одна из девиц проявила строптивость. Она стала вырываться, царапаться. Короче, устояла и не поддалась обаянию министра внутренних дел. Берия сказал ей:

— Можешь уходить.

Барышня спустилась вниз по лестнице. Шофер, не ожидая такого поворота событий, вручил ей заготовленный букет. Девица, чуть успокоившись, обратилась к стоящему на балконе министру:

— Ну вот, Лаврентий Павлович! Ваш шофер оказался любезнее вас. Он подарил мне букет цветов.

Берия усмехнулся и вяло произнес:

— Ты ошибаешься. Это не букет. Это — венок.

Хармс говорил: — Телефон у меня простой — 32-08. Запоминается легко. Тридцать два зуба и восемь пальцев.

Плохие стихи все-таки лучше хорошей газетной заметки.

Дело было на лекции профессора Макогоненко. Саша Фомушкин увидел, что Макогоненко принимает таблетку. Он взглянул на профессора с жалостью и говорит:

— Георгий Пантелеймонович, а вдруг они не тают? Вдруг они так и лежат на дне желудка? Год, два, три, а кучка все растет, растет...

Профессору стало дурно.

Расположились мы с Фомушкиным на площади Искусств. Около бронзового Пушкина толпилась группа азиатов. Они были в халатах, тюбетейках. Что-то обсуждали, жестикулировали. Фомушкин взглянул и говорит: — Приедут к себе на юг, знакомым будут хвастать: «Ильича видали!»

Сдавал как-то раз Фомушкин экзамен в университете.

— Безобразно отвечаете, — сказала преподавательница, — два!

Фомушкин шагнул к ней и тихо говорит:

— Поставьте тройку.

Прибыл к нам в охрану сержант из Москвы. Культурный человек, и даже сын писателя. И было ему в нашей хамской среде довольно неуютно. А ему как раз хотелось выглядеть «своим». И вот он постоянно матерился, чтобы заслужить доверие. И как-то раз прикрикнул на ефрейтора Гаенко:

— Ты что, ебну́лся?!

Именно так поставив ударение — «ебну́лся».

Гаенко сказал в ответ:

— Товарищ сержант, вы не правы. По-русски можно сказать — ёбну́лся, ебану́лся или наебну́лся. А «ебну́лся» — такого слова в русском литературном языке, уж извините, нет!

Приехал к нам строевой офицер из штаба части. Выгнал нас из казармы. Заставил построиться. И начали мы выполнять ружейные приемы.

Происходило это в Коми. День был морозный, градусов сорок.

Подошла моя очередь. «К ноге!» «На плечо!» «Смирно, вольно...» И так далее.

И вот офицер говорит, шепелявя:

— Не визу теткости, Довлатов! Не визу молодцеватости! Не визу! Не осусяю!

А холод страшный. Шинели не греют. Солдаты мерзнут, топчутся.

А офицер свое:

— Не визу теткости! Не визу молодцеватости!..

И тогда выходит хулиган Петров. Делает шаг вперед из строя. И звонко произносит в морозной тишине:

— Товарищ майор! Выплюнь сначала хрен изо рта!

Петрову дали восемь суток гауптвахты.

На Иоссере судили рядового Бабичева. Судили его за пьяную драку. В роте было назначено комсомольское собрание. От его решения в какой-то мере зависела дальнейшая судьба подсудимого. Если собрание осудит Бабичева, дело передается в трибунал. Если же хулигана возьмут на поруки, тем дело может и кончиться.

В ночь перед собранием Бабичев разбудил меня и зашептал:

— Все, погибаю, испекся. Придумай что-нибудь.

— Что?

— Что угодно. Ты мужик культурный, образованный.

— Ладно, попытаюсь.

— С меня ящик водки...

Толкаю его в бок через полчаса:

— Вот слушай. Начнется собрание. Я тебя спрошу: «Есть у вас, Бабичев, гражданская профессия?» Ты ответишь: «Нет». Я скажу: «Так что ему после армии — воровать?» А дальше все зашумят, поскольку это болезненная тема. Может, в этом шуме тебя и оправдают...

— Слушай, — просит Бабичев, — ты напиши мне, что говорить. А то я собоюсь.

Достаю лист бумаги. Пишу ему крупными буквами: «Нет».

— И это все?

— Все. Я задаю вопрос, ты отвечаешь — «нет».

— Напиши мне, что ты сам будешь говорить. А то я все перепутаю.

Короче, просидели мы всю ночь. К утру сценарий был закончен.

Начинается комсомольское собрание. Встает подполковник Яковенко и говорит:

— Ну, Бабичев, объясните, что там у вас произошло?

Смотрю, Бабичев ищет эту фразу в шпаргалке. Лихорадочно читает сценарий. А подполковник свое:

— Объясните же, что там случилось? Ну?

Бабичев еще раз заглянул в сценарий. Затем растерянно посмотрел на меня и обратился к Яковенко:

— А хули тебе, козлу, объяснять?!.

В результате он получил три года дисциплинарного батальона.

В присутствии Алешковского какой-то старый большевик рассказывал:

— Шла гражданская война на Украине. Отбросили мы белых к Днепру. Распрягли коней. Решили отдохнуть. Сажу я у костра с ординарцем Васей. Говорю ему: «Эх, Вася! Вот разобьем беляков, построим социализм — хорошая жизнь лет через двадцать наступит! Дожить бы!..»

Алешковский за него закончил:

— И наступил через двадцать лет — тридцать восьмой год!

Алешковский говорил: — А как еще может пахнуть в стране?!
Ведь главный труп еще не захоронен!

Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро — закрыто. Кованая решетка от земли до потолка. А за решеткой прогуливается милиционер.

Иосиф подошел ближе. Затем довольно громко крикнул:

— Э!

Милиционер насторожился, обернулся.

— Чудесная картина, — сказал ему Иосиф, — впервые наблюдаю мента за решеткой!

Пришел я однажды к Бродскому с фокстерьершей Глашей. Он назначил мне свидание в 10.00. На пороге Иосиф сказал: — Вы явились ровно к десяти, что нормально. А вот как умудрилась собачка не опоздать?!

Сидели мы как-то втроем — Рейн, Бродский и я. Рейн, между прочим, сказал:

— Точность — это великая сила. Педантической точностью славились Зощенко, Блок, Заболоцкий. При нашей единственной встрече Заболоцкий сказал мне: «Женя, знаете, чем я победил советскую власть? Я победил ее своей точностью!»

Бродский перебил его:

— Это в том смысле, что просидел шестнадцать лет от звонка до звонка?!

Сидел у меня Веселов, бывший летчик. Темпераментно рассказывал об авиации. В частности, он говорил:

— Самолеты преодолевают верхнюю облачность... Ласточки попадают в сопла... Самолеты падают... Гибнут люди... Ласточки попадают в сопла... Глохнут моторы... Самолеты разбиваются... Гибнут люди...

А напротив сидел поэт Евгений Рейн.

— Самолеты разбиваются, — продолжал Веселов, — гибнут люди...

— А ласточки что — выживают?! — обиженно крикнул Рейн.

Как-то пили мы с Иваном Федоровичем. Было много водки и портвейна. Иван Федорович благодарно возбудился. И ласково спросил поэта Рейна:

— Вы какой, извиняюсь, будете нации?

— Еврейской, — ответил Рейн, — а вы, пардон, какой нации будете?

Иван Федорович дружелюбно ответил:

— А я буду русской... еврейской нации.

Женя Рейн оказался в Москве. Поселился в чьей-то отдельной квартире. Пригласил молодую женщину в гости. Сказал:

— У меня есть бутылка водки и четыреста граммов сервелата.

Женщина обещала зайти. Спросила адрес. Рейн продиктовал и добавил:

— Я тебя увижу из окна.

Стал взволнованно ждать. Молодая женщина направилась к нему. Повстречала Сергея Вольфа. «Пойдем, — говорит ему, — со мной. У Рейна есть бутылка водки и четыреста граммов сервелата». Пошли.

Рейн увидел их в окно. Страшно рассердился. Бросился к столу. Выпил бутылку спиртного. Съел четыреста граммов твердокопченой колбасы. Это он успел сделать, пока гости ехали в лифте.

У Игоря Ефимова была вечеринка. Собралось пятнадцать человек гостей. Неожиданно в комнату вошла дочь Ефимовых — семилетняя Лена. Рейн сказал: — Вот кого мне жаль, так это Леночку. Ей когда-то нужно будет ухаживать за пятнадцатью могилами.

В детскую редакцию зашел поэт Семен Ботвинник. Рассказал, как он познакомился с нетребовательной дамой. Досадовал, что не воспользовался противозачаточным средством. Оставил первомайские стихи. Финал их был такой:

«... Адмиралтейская игла
Сегодня, дети, без чехла!..»

Как вы думаете, это — подсознание?

Хрущев принимал литераторов в Кремле. Он выпил и стал многословным. В частности, он сказал:

— Недавно была свадьба в доме товарища Полянского. Молодым подарили абстрактную картину. Я такого искусства не понимаю...

Затем он сказал:

— Как уже говорилось, в доме товарища Полянского была недавно свадьба. И все танцевали этот... как его?.. Шейк. По-моему, это ужас...

Наконец он сказал:

— Как вы знаете, товарищ Полянский недавно сына женил. И на свадьбу явились эти... как их там?.. Барды. Пели что-то совершенно невозможное...

Тут поднялась Ольга Берггольц и громко сказала:

— Никита Сергеевич! Нам уже ясно, что эта свадьба — крупнейший источник познания жизни для вас!

Критик Самуил Лурье и я попали в энциклопедию. В литературную, естественно, энциклопедию. Лурье на букву Ш — библиография, если не ошибаюсь, к Шефнеру. А я, еще того позорнее, на букву Р — библиография к Розену. Какое убожество.

Позвонили мне как-то из отдела критики «Звезды». Причем сама заведующая — Дудко:

— Сережа! Что вы не звоните?! Что вы не заходите?! Срочно пишите для нас рецензию. С вашей остротой. С вашей наблюдательностью. С вашим блеском!

Захожу на следующий день в редакцию. Красивая немолодая женщина довольно мрачно спрашивает:

— Что вам, собственно, надо?

— Да вот рецензию бы написать...

— Вы что, критик?

— Нет.

— Вы думаете, рецензию может написать каждый?..

Я удивился и пошел домой.

Через три дня опять звонит:

— Сережа! Что же вы не появляетесь?

Захожу в редакцию. Мрачный вопрос:

— Что вам угодно?

Все это повторялось раз семь. Наконец я почувствовал, что теряю рассудок. Зашел в отдел прозы к Титову. Спрашиваю его, что все это значит?

— Когда ты заходишь? — спрашивает он. — В какие часы?

— Утром. Часов в одиннадцать.

— Ясно. А когда Дудко сама тебе звонит?

— Часа в два. А что?

— Все понятно. Ты являешься, когда она с похмелья — мрачная. А звонит тебе Дудко после обеда. То есть уже будучи в форме. Ты попробуй зайди часа в два.

Я зашел в два.

— А! — закричала Дудко. — Кого я вижу! Сейчас же пишите рецензию. С вашей наблюдательностью! С вашей остротой...

После этого я лет десять сотрудничал в «Звезде». Однако раньше двух не появлялся.

У поэта Шестинского была такая строчка:

Она нахмурила свой узенький лобок...

В Союзе писателей обсуждали роман Ефимова «Зрелища». Все было очень серьезно. Затем неожиданно появился Ляленков и стал всем мешать. Он был пьян. Наконец встал председатель Бахтин и говорит:

— Ляленков, перестаньте хулиганить! Если не перестанете, я должен буду вас удалить.

Ляленков в ответ промычал:

— Если я не перестану, то и сам уйду!

Встретил я как-то поэта Шкляринского в импортной зимней куртке на меху.

— Шикарная, — говорю, — куртка.

— Да, — говорит Шкляринский, — это мне Виктор Соснора подарил. А я ему — шестьдесят рублей.

Шкляринский работал в отделе пропаганды Лениздата. И довелось ему как-то организовывать выставку книжной продукции.

Выставка открылась. Является представитель райкома и говорит:

— Что это за безобразие?! Почему Ахматова на видном месте? Почему Кукушкин и Заводчиков в тени?! Убрать! Переменить!..

— Я так был возмущен, — рассказывал Шкляринский, — до предела! Зашел, понимаешь, в уборную. И не выходил оттуда до закрытия.

Прогуливались как-то раз Шкляринский с Дворкиным. Беседовали на всевозможные темы. В том числе и о женщинах. Шкляринский в романтическом духе. А Дворкин — с характерной прямоотой. Шкляринский не выдержал:

— Что это ты? Все — трахал да трахал! Разве нельзя выразиться более прилично?!

— Как?

— Допустим: «Он с ней был». Или: «Они сошлись»...

Прогуливаются дальше. Беседуют. Шкляринский спрашивает:

— Кстати, что за отношения у тебя с Ларисой М.?

— Я с ней был, — ответил Дворкин.

— В смысле — трахал?! — переспросил Шкляринский.

Была такая поэтесса — Грудинина. Написала как-то раз стихи. Среди прочего там говорилось:

...И Сталин мечтает при жизни
Увидеть огни коммунизма...

Грудинину вызвали на партсобрание. Спрашивают:

— Что это значит — при жизни? Вы, таким образом, намекаете, что Сталин может умереть?

Грудинина отвечала:

— Разумеется, Сталин как теоретик марксизма, вождь и учитель народов — бессмертен. Но как живой человек и материалист — он смертен. Физически он может умереть, духовно — никогда!

Грудинину тотчас же выгнали из партии.

Это произошло в Ленинградском театральном институте. Перед студентами выступал знаменитый французский шансонье Жильбер Беко. Наконец выступление закончилось. Ведущий обратился к студентам:

— Задавайте вопросы.

Все молчат.

— Задавайте вопросы артисту.

Молчание.

И тогда находившийся в зале поэт Еремин громко крикнул:

— Келе ре тиль? (Который час?)

Жильбер Беко посмотрел на часы и вежливо ответил:

— Половина шестого.

И не обиделся.

Генрих Сапгир, человек очень талантливый, называл себя «поэтом будущего». Лев Халиф подарил ему свою книгу. Сделал такую надпись: «Поэту будущего от поэта настоящего!»

Роман Симонова: «Мертвыми не рождаются».

Подходит ко мне в Доме творчества Александр Бек:

— Я слышал, вы приобрели роман «Иосиф и его братья» Томаса Манна?

— Да, — говорю, — однако сам еще не прочел.

— Дайте сначала мне. Я скоро уезжаю.

Я дал. Затем подходит Горышин:

— Дайте Томаса Манна почитать. Я возьму у Бека, ладно?

— Ладно.

Затем подходит Раевский. Затем Бартен. И так далее. Роман вернулся месяца через три.

Я стал его читать. Страницы (после 9-й) были не разрезаны.

Трудная книга. Но хорошая. Говорят.

Валерий Попов сочинил автошарж. Звучал он так:

«Жил-был Валера Попов. И была у Валеры невеста — юная зеленая гусеница. И они каждый день гуляли по бульвару. А прохожие кричали им вслед:

— Какая чудесная пара! Ах, Валера Попов и его невеста — юная зеленая гусеница!

Прошло много лет. Однажды Попов вышел на улицу без своей невесты — юной зеленой гусеницы. Прохожие спросили его:

— Где же твоя невеста — юная зеленая гусеница?

И тогда Валера Попов ответил:

— Опротивела!»

Губарев поспорил с Арьевым:

— Антисоветское произведение, — говорил он, — может быть талантливым. Но может оказаться и бездарным. Бездарное произведение, если даже оно и антисоветское, все равно бездарное.

— Бездарное, но родное, — заметил Арьев.

Пришел к нам Арьев. Выпил лишнего. Курил, роняя пепел на брюки.

Мама сказала:

— Андрей, у тебя на ширинке пепел.

Арьев не растерялся:

— Где пепел, там и алмаз!

Арьев говорил: — В нашу эпоху капитан Лебядкин стал бы майором.

Моя жена спросила Арьева:

— Андрей, я не пойму, ты куришь?

— Понимаешь, — сказал Андрей, — я закурываю, только когда выпью. А выпиваю я беспрерывно. Поэтому многие ошибочно думают, что я курю.

Чирсков принес в издательство рукопись.

— Вот, — сказал он редактору, — моя новая повесть. Пожалуйста, ознакомьтесь. Хотелось бы узнать ваше мнение. Может, надо что-то исправить, переделать?

— Да, да, — задумчиво ответил редактор, — конечно. Переделайте, молодой человек, переделайте.

И протянул Чирскову рукопись обратно.

Беломлинский говорил об Илье Дворкине: — Илья разговаривает так, будто одновременно какает: «Зд’оорово! Ст’аарик! К’аак дела?

К'аак поживаешь?..»

Слышу от Инги Петкевич:

— Раньше я подозревала, что ты — агент КГБ.

— Но почему?

— Да как тебе сказать. Явишься, займешь пятерку — вовремя несешь обратно. Странно, думаю, не иначе как подослали.

Однажды меня приняли за Куприна. Дело было так.

Выпил я лишнего. Сел тем не менее в автобус. Еду по делам.

Рядом сидела девушка. И вот я заговорил с ней. Просто чтобы уберечься от распада. И тут автобус наш минует ресторан «Приморский», бывший «Чванова».

Я сказал:

— Любимый ресторан Куприна!

Девушка отодвинулась и говорит:

— Оно и видно, молодой человек. Оно и видно.

Лениздат напечатал книгу о войне. Под одной из фотоиллюстраций значилось:

«Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа, а также гвоздь, которым он ранил фашиста...»

Широко жил партизан Боснюк!

Встретил я однажды поэта Горбовского. Слышу:

— Со мной произошло несчастье. Оставил в такси рукавицы, шарф и пальто. Ну пальто мне дал Ося Бродский, шарф — Кушнер. А вот рукавиц до сих пор нет.

Тут я вынул свои перчатки и говорю:

— Глеб, возьми.

Лестно оказаться в такой системе — Бродский, Кушнер, Горбовский и я.

На следующий день Горбовский пришел к Битову. Рассказал про утраченную одежду. Кончил так:

— Ничего. Пальто мне дал Ося Бродский. Шарф — Кушнер. А перчатки — Миша Барышников.

Горбовский, многодетный отец, рассказывал: — Иду вечером домой. Смотрю — в грязи играют дети. Присмотрелся — мои.

Поэт Охапкин надумал жениться. Затем невесту выгнал. Мотивы: — Она, понимаешь, медленно ходит, а главное — ежедневно жрет!

Битов и Цыбин поссорились в одной компании. Битов говорит:

— Я тебе, сволочь, морду набью!

Цыбин отвечает:

— Это исключено. Потому что я — толстовец. Если ты меня ударишь, я подставлю другую щеку.

Гости слегка успокоились. Видят, что драка едва ли состоится. Вышли курить на балкон.

Вдруг слышат грохот. Забегают в комнату. Видят — на полу лежит окровавленный Битов. А толстовец Цыбин, сидя на Битове верхом, молотит его пудовыми кулаками.

В молодости Битов держался агрессивно. Особенно в нетрезвом состоянии. И как-то раз он ударил поэта Вознесенского.

Это был уже не первый случай такого рода. Битова привлекли к товарищескому суду. Плохи были его дела.

И тогда Битов произнес речь. Он сказал:

— Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно — простите. Потому что я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело.

— Ну, и как было дело? — поинтересовались судьи.

— Дело было так. Захожу в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, — воскликнул Битов, — мог ли я не дать ему по физиономии?!

Явился раз Битов к Голявкину. Тот говорит:

— А, здравствуй, рад тебя видеть.

Затем вынимает из тайника «маленькую».

Битов раскрывает портфель и тоже достает «маленькую».

Голявкин молча прячет свою обратно в тайник.

Михаила Светлова я видел единственный раз. А именно — в буфете Союза писателей на улице Воинова. Его окружала почтительная свита.

Светлов заказывал. Он достал из кармана сотню. То есть дореформенную, внушительных размеров банкноту с изображением Кремля. Он разгладил ее, подмигнул кому-то и говорит:

— Ну, что, друзья, пропьем этот ландшафт?

К Пановой зашел ее лечащий врач — Савелий Дембо. Она сказала мужу:

— Надо, чтобы Дембо выслушал заодно и тебя.

— Зачем, — отмахнулся Давид Яковлевич, — чего ради? С таким же успехом и я могу его выслушать.

Вера Федоровна миролюбиво предложила:

— Ну, так и выслушайте друг друга.

Беседовали мы с Пановой.

— Конечно, — говорю, — я против антисемитизма. Но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать русские люди.

— Это и есть антисемитизм, — сказала Панова.

— ?

— То, что вы говорите, — это и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать ДОСТОЙНЫЕ люди.

Явились к Пановой гости на день рождения. Крупные чиновники Союза писателей. Начальство.

Панова, обращаясь к мужу, сказала:

— Мне кажется, у нас душно.

— Обыкновенный советский воздух, дорогая.

Вечером, навязывая жене кислородную подушку, он твердил:

— Дыши, моя рыбка! Скоро у большевиков весь кислород иссякнет. Будет кругом один углерод.

Был день рождения Веры Пановой. Гостей не приглашали. Собрались близкие родственники и несколько человек обслуги. И я в

том числе.

Происходило это за городом, в Доме творчества. Сидим, пьем чай. Атмосфера мрачноватая. Панова болеет.

Вдруг открывается дверь, заходит Федор Абрамов.

— Ой, — говорит, — как неудобно. У вас тут сборище, а я без приглашения...

Панова говорит:

— Ну что вы, Федя! Все мы очень рады. Сегодня день моего рождения. Присаживайтесь, гостем будете.

— Ой! — еще больше всполошился Абрамов. — День рождения! А я и не знал! И вот без подарка явился...

Панова:

— Какое это имеет значение?! Садитесь. Я очень рада.

Абрамов сел, немного выпил, закусил, разгорячился. Снова выпил. Но водка быстро кончилась.

А мы, значит, пьем чай с тортом. Абрамов начинает томиться. Потом вдруг говорит:

— Шел час назад мимо гастронома. Возьму, думаю, бутылку «Столичной». Как-никак у Веры Федоровны день рождения...

И Абрамов достает из кармана бутылку водки.

Романс Сергея Вольфа:

Я ехала в Детгиз,
я думала — аванс...

Вольф говорил: — Нормально идти в гости, когда зовут. Ужасно идти в гости, когда не зовут. Однако самое лучшее — это когда зовут, а ты не идешь.

Наутро после большой гулянки я заявил Сергею Вольфу:

— Ты ужасно себя вел. Ты матюгался, как сапожник. И к тому же стащил зажигалку у моей приятельницы...

Вольф ответил:

— Матюгаться не буду. Зажигалку верну.

Длуголенский сказал Вольфу:

— Еду в Крым на семинар драматургов.
— Разве ты драматург?
— Конечно драматург.
— Какой же ты драматург?!
— Я не драматург?!
— Да уж какой там драматург!
— Если я не драматург, кто тогда драматург?
Вольф подумал и тихо говорит:
— Если так, расскажите нам о себе.

Вольф говорит:
— Недавно прочел «Технологию секса». Плохая книга. Без юмора.
— Что значит — без юмора? При чем тут юмор?
— Сам посуди. Открываю первую страницу, написано — «Введение». Разве так можно?

Пивная на улице Маяковского. Подходит Вольф, спрашивает рубль. Я говорю, что и так мало денег. Вольф не отстает. Наконец я с бранью этот рубль ему протягиваю. — Не за что! — роняет Вольф и удаляется.

Как-то мы сидели в бане. Вольф и я. Беседовали о литературе.
Я все хвалил американскую прозу. В частности — Апдайка.
Вольф долго слушал. Затем встал. Протянул мне таз с водой.
Повернулся задницей и говорит:
— Обдай-ка!

Писатели Вольф с Длуголенским отправились на рыбалку. Сняли комнату. Пошли на озеро. Вольф поймал большого судака. Отдал его хозяйке и говорит:

— Зажарьте нам этого судака. Поужинаем вместе.
Так и сделали. Поужинали, выпили. Ушли в свой чулан.
Хмурый Вольф говорит Длуголенскому:
— У тебя есть карандаш и бумага?
— Есть.
— Дай.
Вольф порисовал немного и говорит:

— Вот сволочи! Они подали не всего судака. Смотри. Этот фрагмент был. И этот был. А этого не было. Пойду выяснять.

Спрашиваю поэта Наймана:

— Вы с Юрой Каценеленбогеном знакомы?

— С Юрой Каценеленбогеном? Что-то знакомое. Имя Юра мне где-то встречалось. Определенно встречалось. Фамилию Каценеленбоген слышу впервые.

Найман и Губин долго спорили, кто из них более одинок.

Рейн с Вольфом чуть не подрались из-за того, кто опаснее болен.

Ну, а Шигашов и Горбовский вообще перестали здороваться. Поспорили о том, кто из них менее вменяемый. То есть менее нормальный.

— Толя, — зову я Наймана, — пойдёте в гости к Лева Друскину.

— Не пойду, — говорит, — какой-то он советский.

— То есть как это советский? Вы ошибаетесь!

— Ну антисоветский. Какая разница.

Звонит Найману приятельница:

— Толечка, приходите обедать. Возьмите по дороге сардин, таких импортных, марокканских... И еще варенья какого-нибудь... Если вас, конечно, не беспокоят эти расходы.

— Совершенно не беспокоят. Потому что я не куплю ни того ни другого.

Толя и Эра Найман — изящные маленькие брюнеты. И вот они развелись. Идем мы однажды с приятелем по улице. А навстречу женщина с двумя крошечными тойтерьерами. — Смотрите, — говорит приятель, — Толя и Эра опять вместе.

Найман и один его знакомый смотрели телевизор. Показывали фигурное катание.

— Любопытно, — говорит знакомый, — станут Белоусова и Протопопов в этот раз чемпионами мира?

Найман вдруг рассердился:

— Вы за Протопопова не беспокойтесь! Вы за себя беспокойтесь!

Однажды были мы с женой в гостях. Заговорили о нашей дочери. О том, кого она больше напоминает. Кто-то сказал:

— Глаза Ленины.

А Найман вдруг говорит:

— Глаза Ленина, нос — Сталина.

Оказались мы в районе новостроек. Стекло, бетон, однообразные дома. Я говорю Найману:

— Уверен, что Пушкин не согласился бы жить в этом мерзком районе.

Найман отвечает:

— Пушкин не согласился бы жить... в этом году!

Найман и Бродский шли по Ленинграду. Дело было ночью.

— Интересно, где здесь Южный Крест? — спросил вдруг Бродский.

(Как известно, Южный Крест находится в соответствующем полушарии.)

Найман сказал:

— Иосиф! Откройте словарь Брокгауза и Ефрона. Найдите там букву А. И поищите там слово «Астрономия».

Бродский ответил:

— Вы тоже откройте словарь на букву А. И поищите там слово «Астроумие».

Писателя Воскобойникова обидели американские туристы. Непунктуально вроде бы себя повели. Не явились в гости. Что-то в этом роде.

Воскобойников надулся.

— Я, — говорит, — напишу Джону Кеннеди письмо. Мол, что это за люди, даже не позвонили.

А Бродский ему и говорит:

— Ты напиши «до востребования». А то Кеннеди ежедневно бегают на почту и все жалуется: «Снова от Воскобойникова ни звука!..»

Беседовали мы как-то с Воскобойниковым по телефону.

— Еду, — говорит, — в Разлив. Я там жилье снял на лето.

Тогда я спросил:

— Комнату или шалаш?

Воскобойников от испуга трубку повесил.

Воскобойникову дали мастерскую. Без уборной. Находилась мастерская рядом с Балтийским вокзалом. Так что Воскобойников мог использовать железнодорожный сортир. Но после двенадцати заходить туда разрешалось лишь обладателям билетов. То есть пассажирам. Тогда Воскобойников приобрел месячную карточку до ближайшей остановки. Если не ошибаюсь, до Боровой. Карточка стоила два рубля. Безобидная функция организма стоила Воскобойникову — шесть копеек в день. То есть полторы-две копейки за мероприятие. Он стал, пожалуй, единственным жителем города, который мочился за деньги. Характерная для Воскобойникова история.

Воскобойников:

— Разве не все мы — из литобъединения Бакинского?

— Мы, например, из гоголевской «Шинели».

Шли выборы руководства Союза писателей в Ленинграде. В кулуарах Минчковский заметил Ефимова. Обдав его винными парами, сказал:

— Идем голосовать?

Пунктуальный Ефимов уточнил:

— Идем вычеркивать друг друга.

Володя Губин был человеком не светским.

Он говорил:

— До чего красивые жены у моих приятелей! У Вахтина — красавица! У Марамзина — красавица! А у Довлатова жена — это вообще что-то необыкновенное! Я таких, признаться, даже в метро не встречал!

Художника Копеляна судили за неуплату алиментов. Дали ему последнее слово.

Свое выступление он начал так:

— Граждане судьи, защитники... полузащитники и нападающие!..

У Эдика Копеляна случился тяжелый многодневный запой. Сережа Вольф начал его лечить. Вывез Копеляна за город.

Копелян неуверенно вышел из электрички. Огляделся с тревогой. И вдруг, указывая пальцем, дико закричал:

— Смотри, смотри — птица!

У Валерия Грубина, аспиранта-философа, был научный руководитель. Он был недоволен тем, что Грубин употребляет в диссертации много иностранных слов. Свои научные претензии к Грубину он выразил так: — Да хули ты выебываешься?!

Встретились мы как-то с Грубиным. Купили «маленькую». Зашли к одному старому приятелю. Того не оказалось дома.

Мы выпили прямо на лестнице. Бутылку поставили в угол. Грубин, уходя, произнес:

— Мы воздвигаем здесь этот крошечный обелиск!

Грубин с похмелья декламировал:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, очнись и поддадим!..

У Иосифа Бродского есть такие строчки:

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать,
На Васильевский остров
Я приду умирать...

Так вот, знакомый спросил у Грубина:

— Не знаешь, где живет Иосиф Бродский?

Грубин ответил:

— Где живет, не знаю. Умирать ходит на Васильевский остров.

Валерий Грубин — Тане Юдиной: — Как ни позвоню, вечно ты сердишься. Вечно говоришь, что уже половина третьего ночи.

Повстречали мы как-то с Грубиным жуткого забулдыгу. Угостили его шампанским. Забудыга сказал:

— Третий раз в жизни ИХ пью!

Он был с шампанским на «вы».

Оказались мы как-то в ресторане Союза журналистов. Подружились с официанткой. Угостили ее коньяком. Даже вроде бы мило ухаживали за ней. А она нас потом обсчитала. Если мне не изменяет память, рублей на семь. Я возмутился. Но мой приятель Грубин сказал: — Официант как жаворонок. Жаворонок поет не оттого, что ему весело. Пение — функция его организма. Так устроена его гортань. Официант ворует не потому, что хочет тебе зла. Официант ворует даже не из корысти. Воровство для него — это функция. Физиологическая потребность организма.

Грубин предложил мне отметить вместе ноябрьские торжества. Кажется, это было 60-летие Октябрьской революции.

Я сказал, что пить в этот день не буду. Слишком много чести. А он и говорит:

— Не пить — это и будет слишком много чести. Почему же это именно сегодня вдруг не пить!

Оказались мы с Грубиным в Подпорожском районе. Блуждали ночью по заброшенной деревне. И неожиданно он провалился в колодец. Я подбежал. С ужасом заглянул вниз. Стоит мой друг по колено в грязи и закуривает. Такова была степень его невозмутимости.

Пришел к нам Грубин с тортом. Я ему говорю:

— Зачем? Какие-то старомодные манеры.

Грубин отвечает:

— В следующий раз принесу марихуану.

Зашли мы с Грубиным в ресторан. Напротив входа сидит швейцар. Мы слышим: — Извиняюсь, молодые люди, а двери за собой не обязательно прикрывать?!

Отправились мы с Грубиным на рыбалку. Попали в грозу. Укрылись в шалаше. Грубин был в носках. Я говорю:

— Ты оставил снаружи ботинки. Они намокнут.

Грубин в ответ:

— Ничего. Я их перевернул НИЦ.
Бывший филолог в нем ощущался.

У моего отца был знакомый, некий Кузанов. Каждый раз при встрече он говорил:

— Здравствуйте, Константин Сергеевич!

Подразумевал Станиславского. Иронизируя над моим отцом, скромным эстрадным режиссером. И вот папаше это надоело. Кузанов в очередной раз произнес:

— Мое почтение, Константин Сергеевич!

В ответ прозвучало:

— Привет, Адольф!

Как-то раз отец сказал мне:

— Я старый человек. Прожил долгую творческую жизнь. У меня сохранились богатейшие архивы. Я хочу завещать их тебе. Там есть уникальные материалы. Переписка с Мейерхольдом, Толубеевым, Шостаковичем.

Я спросил:

— Ты переписывался с Шостаковичем?

— Естественно, — сказал мой отец, — а как же?! У нас была творческая переписка. Мы обменивались идеями, суждениями.

— При каких обстоятельствах? — спрашиваю.

— Я что-то ставил в эвакуации, а Шостакович писал музыку. Мы обсуждали в письмах различные нюансы. Показать?

Мой отец долго рылся в шкафу. Наконец он вытащил стандартного размера папку. Достал из нее узкий белый листок. Я благоговейно прочел:

«Телеграмма. С вашими замечаниями категорически не согласен. Шостакович».

Разговор с ученым человеком:

— Существуют внеземные цивилизации?

— Существуют.

— Разумные?

— Очень даже разумные.
— Почему же они молчат? Почему контактов не устанавливают?
— Вот потому и не устанавливают, что разумные. На хрена мы им сдались?!

Летом мы снимали комнату в Пушкине. Лена утверждала, что хозяин за стеной по ночам бредит матом.

Академик Телятников задремал однажды посередине собственного выступления.

— Что ты думаешь насчет евреев? — А что, евреи тоже люди. К нам в МТС прислали одного. Все думали — еврей, а оказался пьющим человеком.

Нос моей фокстерьерши Глаши — крошечная боксерская перчатка. А сама она — березовая чурочка.

Костя Беляков считался преуспевающим журналистом. Раз его послали на конференцию обкома партии. Костя появился в зале слегка навеселе. Он поискал глазами самого невзрачного из участников конференции. Затем отозвал его в сторонку и говорит:

— Але, мужик, есть дело. Я дыхну, а ты мне скажешь — пахнет или нет...

Невзрачный оказался вторым секретарем обкома. Костю уволили из редакции.

Журналиста Костю Белякова увольняли из редакции за пьянство. Шло собрание. Друзья хотели ему помочь. Они сказали:

— Костя, ты ведь решил больше не пить?

— Да, я решил больше не пить.

— Обещаешь?

— Обещаю.

— Значит, больше — никогда?

— Больше — никогда!

Костя помолчал и добавил:

— И меньше — никогда!

Тамара Зибунова приобрела стереофоническую радиолу «Эстония». С помощью знакомых отнесла ее домой. На лестничной площадке возвышался алкоголик дядя Саша. Тамара говорит:

— Вот, дядя Саша, купила радиолу, чтобы твой мат заглушать!

В ответ дядя Саша неожиданно крикнул:
— Правду не заглушишь!

Однокомнатная коммуналка — ведь и такое бывает.

В ходе какой-то пьянки исчезла жена Саши Губарева. Удрала с кем-то из гостей. Если не ошибаюсь, с журналистом Васей Захарько. Друг его, Ожегов, чувствуя себя неловко перед Губаревым, высказал идею:

— Васька мог и не знать, что ты — супруг этой женщины.
Губарев хмуро ответил:
— Но ведь Ирина-то это знала.

Моя дочка говорила: — Я твое «бибиси» на окно переставила.
Я спросил у восьмилетней дочки:
— Без окон, без дверей — полна горница людей. Что это?
— Тюрьма, — ответила Катя.

Наша маленькая дочка говорила: — Поеду с тетей Женей в Москву. Зайду в Мавзолей. И увижу наконец *живого* Ленина!

— Буер? Конечно, знаю. Это то, дальше чего нельзя в море заплывать.

Сосед-полковник говорил о ком-то: — Простите мне грубое русское выражение, но он — типичный ловелас.

В Пушкинских Горах туристы очень любознательные. Задают экскурсоводам странные вопросы:

— Кто, собственно, такой Борис Годунов?
— Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым?
— Где здесь проходила «Болдинская осень»?
— Бывал ли Пушкин в этих краях?
— Как отчество младшего сына А. С. Пушкина?
— Была ли А. П. Керн любовницей Есенина?!

А в Ленинграде у знакомого экскурсовода спросили:

— Что теперь находится в Смольном — Зимний?..

И наконец, совсем уже дикий вопрос:

— Говорят, В.И.Ленин умел плавать задом. Правда ли это?

Случилось это в Таллинне. Понадобилась мне застёжка. Из тех, что называются «молнии». Захожу в лавку:

— «Молнии» есть?

— Нет.

— А где ближайший магазин, в котором они продаются?

Продавец ответил:

— В Хельсинки.

Некий Баринов из Военно-медицинской академии сидел пятнадцать лет. После реабилитации читал донос одного из сослуживцев. Бумагу пятнадцатилетней давности. Документ, в силу которого он и был арестован. В доносе говорилось среди прочего:

«Товарищ Баринов считает, что он умнее других. Между тем в Академии работают люди, которые старше его по званию...»

И дальше:

«По циничному утверждению товарища Баринова, мозг человека состоит из серого вещества. Причем мозг любого человека. Независимо от занимаемого положения. Включая членов партии...»

Некто гулял с еврейской теткой по Ленинграду. Тетка приехала из Харькова. Погуляли и вышли к реке.

— Как называется эта река? — спросила тетка.

— Нева.

— Нева? Что вдруг?!

Мемориальная доска: «Архитектор Расстрелян».

Осип Чураков рассказал мне такую историю: У одного генеральского сына, 15-летнего мальчика, был день рождения. Среди гостей преобладали дети военных. Явился даже сын какого-то маршала. Конева, если не ошибаюсь. Развернул свой подарок — книгу. Военно-патриотический роман для молодежи. И там была надпись в стихах:

Сегодня мы в одном бою
Друг друга защищаем,
А завтра мы в одной пивной

Друг друга угощаем!

Взрослые посмотрели на мальчика с уважением. Все-таки стихи. Да еще такие, можно сказать, зрелые.

Прошло около года. И наступил день рождения сына маршала Конева. И опять собрались дети военных. Причем генеральский сын явился чуть раньше назначенного времени. Все это происходило на даче, летом.

Маршал копал огород. Он был голый до пояса. Извинившись, он повернулся и убежал в дом. На спине его виднелась четкая пороховая татуировка:

Сегодня мы в одном бою
Друг друга защищаем,
А завтра мы в одной пивной
Друг друга угощаем!

Сын маршала оказался плагиатором.

Издавался какой-то научный труд. Редактора насторожила такая фраза:

«Со времен Аристотеля мозг человеческий не изменился».

Может быть, редактор почувствовал обиду за современного человека. А может, его смутила излишняя категоричность. Короче, редактор внес исправление. Теперь фраза звучала следующим образом:

«Со времен Аристотеля мозг человеческий ПОЧТИ не изменился».

Лев Никулин, сталинский холуй, был фронтовым корреспондентом. А может быть, политработником. В оккупированной Германии проявлял интерес к бронзе, фарфору, наручным часам. Однако более всего хотелось ему иметь заграничную пишущую машинку.

Шел он как-то раз по городу. Видит — разгромленная контора. Заглянул. На полу — шикарный ундервуд с развернутой кареткой. Тяжелый, из литого чугуна. Погрузил его Никулин в брезентовый

мешок. Думает: «Шрифт я в Москве поменяю с латинского на русский».

В общем, таскал Лев Никулин этот мешок за собой. Месяца три надрывался. По ночам его караулил. Доставил в Москву. Обратился к механику. Тот говорит:

— Это же машинка с еврейским шрифтом. Печатает справа налево...

Так наказал политработника еврейский Бог.

Молодого Шемякина выпустили из психиатрической клиники. Миша шел домой и повстречал вдруг собственного отца. Отец и мать его были в разводе.

Полковник в отставке спрашивает:

— Откуда ты, сын, и куда?

— Домой, — отвечает Миша, — из психиатрической клиники.

Полковник сказал:

— Молодец!

И добавил:

— Где только мы, Шемякины, не побывали! И в бою, и в пиру, и в сумасшедшем доме!

Я был на третьем курсе ЛГУ. Зашел по делу к Мануйлову. А он как раз принимает экзамены. Сидят первокурсники. На доске указана тема:

«Образ лишнего человека у Пушкина».

Первокурсники строчат. Я беседую с Мануйловым. И вдруг он спрашивает:

— Сколько необходимо времени, чтобы раскрыть эту тему?

— Мне?

— Вам.

— Недели три. А что?

— Так, — говорит Мануйлов, — интересно получается. Вам трех недель достаточно. Мне трех лет не хватило бы. А эти дураки за три часа все напишут.

Можно, рассуждая о гидатопироморфизме, быть при этом круглым дураком. И наоборот, разглагольствуя о жареных грибах, быть

весьма умным человеком.

Это было лет двадцать назад. В Ленинграде состоялась знаменитая телепередача. В ней участвовали — Панченко, Лихачев, Солоухин и другие. Говорили про охрану русской старины. Солоухин высказался так: — Был город Пермь, стал — Молотов. Был город Вятка, стал — Киров. Был город Тверь, стал — Калинин... Да что же это такое?! Ведь даже татаро-монголы русских городов не переименовывали!

Это произошло в 20-е годы. Следователь Шейнин вызвал одного еврея. Говорит ему:

— Сдайте добровольно имеющиеся у вас бриллианты. Иначе вами займется прокуратура.

Еврей подумал и спрашивает:

— Товарищ Шейнин, вы еврей?

— Да, я еврей.

— Разрешите, я вам что-то скажу как еврей еврею?

— Говорите.

— Товарищ Шейнин, у меня есть дочь. Честно говоря, она не Мери Пикфорд. И вот она нашла себе жениха. Дайте ей погулять на свадьбе в этих бриллиантах. Я отдаю их ей в качестве приданого. Пусть она выйдет замуж. А потом делайте с этими бриллиантами что хотите.

Шейнин внимательно посмотрел на еврея и говорит:

— Можно, и я вам что-то скажу как еврей еврею?

— Конечно.

— Так вот. Жених — от нас.

Одного моего знакомого привлекли к суду. Вменялась ему антисоветская пропаганда. Следователь задает ему вопросы:

— Знаете ли вы некоего Чумака Бориса Александровича?

— Знаю.

— Имел ли некий Чумак Борис Александрович доступ к множительному устройству «Эра»?

— Имел.

— Отпечатал ли он на «Эре» сто копий «Всеобщей декларации прав человека»?

— Отпечатал.

— Передал ли он эти сто копий «Декларации» вам, Михаил Ильич?

— Передал.

— А теперь скажите откровенно, Михаил Ильич. Написали-то эту «Декларацию», конечно, вы сами? Не так ли?!

Реплика в чеховском духе: «Я к этому случаю решительно не деепричастен».

Я уверен, не случайно дерьмо и шоколад примерно одинакового цвета. Тут явно какой-то многозначительный намек. Что-нибудь относительно единства противоположностей.

— Какой у него телефон?

— Не помню.

— Ну, хотя бы приблизительно?

Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее. Однако похожем быть хочется только на Чехова.

Режим: наелись и лежим.

Это случилось на ленинградском радио. Я написал передачу о камнерезах. Передача так и называлась — «Живые камни». Всем редакторам она понравилась. Однако председатель Радиокomiteта Филиппов ее забраковал. Мы с редактором отправились к нему. Добились аудиенции. Редактор спрашивает:

— Что с передачей?

Филиппов отвечает:

— Она не пойдет.

— Почему? Ведь это хорошая передача?!

— Какая разница — почему? Не пойдет, и все.

— Хорошо, она не пойдет. Но лично вам она понравилась?

— Какая разница?

— Ну, мне интересно.

— Что интересно?

— Лично вам эта передача нравится?

— Нет.

Редактор чуть возвысил голос:

— Что же тогда вам нравится, Александр Петрович?
Филиппов поднял глаза и отчетливо выговорил:
— Мне? Ничего!

Председатель Радиокomiteта Филиппов запретил служащим женщинам носить брючные костюмы. Женщины не послушались. Было организовано собрание. Женщины, выступая, говорили:

— Но это же мода такая! Это скромная хорошая мода! Брюки, если разобраться, гораздо скромнее юбок. А главное — это мода. Она распространена по всему свету. Это мода такая...

Филиппов встал и коротко объявил:

— Нет такой моды!

Допустим, хороший поэт неожиданно выпускает том беллетристики. Как правило, эта беллетристика гораздо хуже, чем можно было ожидать. И наоборот, книга стихов хорошего прозаика всегда гораздо лучше, чем ожидалось.

Семья — не ячейка государства. Семья — это государство и есть. Борьба за власть, экономические, творческие и культурные проблемы. Эксплуатация, мечты о свободе, революционные настроения. И тому подобное. Все это и есть семья.

Ленин произносил: «Гавнодушие».

По радио сообщили: «Сегодня утром температура в Москве достигла двадцати восьми градусов. За последние двести лет столь высокая майская температура наблюдалась единственный раз. В прошлом году».

Дело было в пивной. Привязался ко мне незнакомый алкаш.

— Какой, — спрашивает, — у тебя рост?

— Никакого, — говорю.

(Поскольку этот вопрос мне давно надоел.)

Слышу:

— Значит, ты пидараст?!

— Что-о?!

— Ты скаламбурил, — ухмыльнулся пьянчуга, — и я скаламбурил!

Понадобился мне железнодорожный билет до Москвы. Кассы пустые. Праздничный день. Иду к начальнику вокзала. Начальник говорит: — Нет у меня билетов. Нету. Ни единого. Сам верхом езжу.

В психиатрической больнице содержался некий Муравьев. Он все хотел повеситься. Сначала на галстук. Потом на обувном шнурке. Вещи у него отобрали — ремень, подтяжки, шарф. Вилки ему не полагалось. Ножа — тем более. Даже авторучку он брал в присутствии медсестры.

И вот однажды приходит доктор. Спрашивает:

— Ну, как дела, Муравьев?

— Ночью голос слышал.

— Что же он тебе сказал?

— Приятное сказал.

— Что именно?

— Да так, порадовал меня.

— Ну, а все-таки, что он сказал?

— Он сказал: «Хороши твои дела, Муравьев! Ох, хороши!..»

Жил я как-то в провинциальной гостинице. Шел из уборной в одной пижаме. Заглянул в буфет. Спрашиваю:

— Спички есть?

— Есть.

— Тогда я сейчас вернусь.

Буфетчица сказала мне вслед:

— Деньги пошел занимать.

На экраны вышел кинофильм о Феликсе Дзержинском. По какому-то дикому, фантастическому недоразумению его обозначили в главкинопрокате: «Наш Калиныч».

Лысый может причесываться, не снимая шляпы.

Мог бы Наполеон стать учителем фехтования?

Алкоголизм излечим, пьянство — нет.

У Чехова все доктора симпатичные. Ему определенно нравились врачи. То есть люди одной с ним профессии.

Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки — никого!

Две грубиянки — Сцилла Ефимовна и Харибда Абрамовна.

Рожденный ползать летать... не хочет!

Кошмар сталинизма даже не в том, что погибли миллионы. Кошмар сталинизма в том, что была развращена целая нация. Жены предавали мужей. Дети проклинали родителей. Сынишка репрессированного коминтерновца Пятницкого говорил:

— Мама! Купи мне ружье! Я застрелю врага народа — папку!..

Кто же открыто противостоял сталинизму? Увы, не Якир, Тухачевский, Егоров или Блюхер. Открыто противостоял сталинизму девятилетний Максим Шостакович.

Шел 48-й год. Было опубликовано знаменитое постановление ЦК. Шостаковича окончательно заклеямили как формалиста.

Отметим, что народные массы при этом искренне ликовали. И как обычно, выражали свое ликование путем хулиганства. Попросту говоря, били стекла на даче Шостаковича.

И тогда девятилетний Максим Шостакович соорудил рогатку. Залез на дерево. И начал стрелять в марксистско-ленинскую эстетику.

Писатель Демиденко — страшный грубиян. Матерные слова вставляет куда попало. Помню, я спросил его:

— Какая у тебя пишущая машинка? Какой марки?

Демиденко сосредоточился, вспомнил заграничное название «Рейнметалл» и говорит:

— Рейн, блядь, металл, на хер!

Расположились мы как-то с писателем Демиденко на ящиках около винной лавки. Ждем открытия. Мимо проходит алкаш, запущенный такой. Обращается к нам:

— Сколько время?

Демиденко отвечает:

— Нет часов.

И затем:

— Такова селяви.

Алкаш оглядел его презрительно:

— Такова селяви? Да не такова селяви, а таково селяви. Это же средний род, мудила!

Демиденко потом восхищался:

— У нас даже алкаши могут преподавать французский язык!

У моего дяди были ребятишки от некой Людмилы Ефремовны. Мой дядя с этой женщиной развелся. Платил алименты. Как-то он зашел навестить детей. А Людмила Ефремовна вышла на кухню. И вдруг мой дядя неожиданно пукнул. Дети стали громко хохотать. Людмила Ефремовна вернулась с кухни и говорит: — Все-таки детям нужен отец. Как чудно они играют, шутят, смеются!

Яша Фрухтман руководил хором старых большевиков. Говорил при этом: — Сочиняю мемуары под заглавием: «Я видел тех, кто видел Ленина!»

Яша Фрухтман взял себе красивый псевдоним — Дубравин. Очень им гордился. Однако шутники на радио его фамилию в платежных документах указывали: «Дуб-раввин».

Плакат на берегу:

«Если какаешь в реке,
Уноси говно в руке!»

Лида Потапова говорила:

— Мой Игорь утверждает, что литература должна быть орудием партии. А я утверждаю, что литература не должна быть орудием партии. Кто же из нас прав?

Бобышев рассердился:

— Нет такой проблемы! Что тут обсуждать?! Может, еще обсудим — красть или не красть в гостях серебряные ложки?!

По радио объявили: «На экранах — третья серия «Войны и мира». Фильм по одноименному роману Толстого. В ходе этой картины зрители могут ознакомиться с дальнейшей биографией любившихся им героев».

Ростропович собирался на гастроли в Швецию. Хотел, чтобы с ним поехала жена. Начальство возражало.

Ростропович начал ходить по инстанциям. На каком-то этапе ему посоветовали:

— Напишите докладную. «Ввиду неважного здоровья прошу, чтобы меня сопровождала жена». Что-то в этом духе.

Ростропович взял лист бумаги и написал:

«Ввиду безукоризненного здоровья прошу, чтобы меня сопровождала жена».

И для убедительности прибавил: «Галина Вишневская».

Это подействовало даже на советских чиновников.

Мой армянский дедушка был знаменит весьма суровым нравом. Даже на Кавказе его считали безумно вспыльчивым человеком. От любой мелочи дед приходил в ярость и страшным голосом кричал: «Абанапат!»

Мама и ее сестры очень боялись дедушку. Таинственное слово «абанапат» приводило их в ужас. Значения этого слова мать так и не узнала до преклонных лет.

Она рассказывала мне про деда. Четко выговаривала его любимое слово «абанапат», похожее на заклинание. Говорила, что не знает его смысла.

А затем я вырос. Окончил школу. Поступил в университет. И лишь тогда вдруг понял, как расшифровать это слово.

Однако маме не сказал. Зачем?

Отправил я как-то рукопись в «Литературную газету». Получил такой фантастический ответ: «Ваш рассказ нам очень понравился. Используем в апреле нынешнего года. Хотя надежды мало. С приветом — Цитриняк».

Однажды я техреда Льва Захаровича назвал случайно Львом Абрамовичем. И тот вдруг смертельно обиделся. А я все думал, что же могло показаться ему столь уж оскорбительным? Наконец я понял ход его мыслей: «Сволочь! Моего отчества ты не запомнил. А запомнил только, гад, что я — еврей!..»

Пожилой зек рассказывал: — А сел я при таких обстоятельствах. Довелось мне быть врачом на корабле. Заходит как-то боцман. Жалуется на одышку и бессонницу. Раздевайтесь, говорю. Он разделся. Жирный такой, пузатый. Да, говорю, скверная у нас, милостивый государь, конституция, скверная... А этот дурак пошел и написал замполиту, что я ругал советскую конституцию.

Театр абсурда. Пьеса: «В ожидании ГБ...»

Один мой друг ухаживал за женщиной. Женщина была старше и опытнее его. Она была необычайно сексуальна и любвеобильна.

Друг мой оказался с этой женщиной в гостях. Причем в огромной генеральской квартире. И ему предложили остаться ночевать. И женщина осталась с ним.

Впервые они были наедине. И друг мой от радости напился.

Очнулся голый на полу. Женщина презрительно сказала:

— Мало того, что он не стоял. Он у тебя даже не лежал. Он валялся.

Это было после разоблачения культа личности. Из лагерей вернулось множество писателей. В том числе уже немолодая Галина Серебрякова. Ей довелось выступать на одной литературной конференции. По ходу выступления она расстегнула кофту, демонстрируя следы тюремных истязаний. В ответ на что циничный Симонов заметил:

— Вот если бы это проделала Ахмадулина...

Впоследствии Серебрякова написала толстую книгу про Маркса. Осталась верна коммунистическим идеалам.

С Ахмадулиной все не так просто.

У режиссера Климова был номенклатурный папа. Член ЦК. О Климове говорили: — Хорошо быть левым, когда есть поддержка справа...

Ольга Форш перелистывала в санатории жалобную книгу. Обнаружила такую запись: «В каше то и дело попадают лесные насекомые. Недавно встретился мне за ужином жуккороед». — Как вы думаете, — спросила Форш, — это жалоба или благодарность?

Это было в семидесятые годы. Булату Окуджаве исполнилось 50 лет. Он тогда пребывал в немилости. «Литературная газета» его не поздравила.

Я решил отправить незнакомому поэту телеграмму. Придумал нестандартный текст, а именно: «Будь здоров, школяр!» Так называлась одна его ранняя повесть.

Через год мне довелось познакомиться с Окуджавой. И я напомнил ему о телеграмме. Я был уверен, что ее нестандартная

форма запомнилась поэту.

Выяснилось, что Окуджава получил в юбилейные дни более ста телеграмм. Восемьдесят пять из них гласили: «Будь здоров, школяр!»

Министр культуры Фурцева беседовала с Рихтером. Стала жаловаться ему на Ростроповича:

— Почему у Ростроповича на даче живет этот кошмарный Солженицын?! Безобразие!

— Действительно, — поддакнул Рихтер, — безобразие! У них же тесно. Пускай Солженицын живет у меня...

Как-то раз мне довелось беседовать со Шкловским. В ответ на мои идейные претензии Шкловский заметил:

— Да, я не говорю читателям всей правды. И не потому, что боюсь. Я старый человек. У меня было три инфаркта. Мне нечего бояться. Однако я действительно не говорю всей правды. Потому что это бессмысленно. Да, бессмысленно...

И затем он произнес дословно следующее:

— Бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки...

Молодого Евтушенко представили Ахматовой. Евтушенко был в модном свитере и заграничном пиджаке. В нагрудном кармане поблескивала авторучка.

Ахматова спросила:

— А где ваша зубная щетка?

Мой двоюродный брат Илья Костяков руководил небольшим танцевальным ансамблем. Играл в ресторане «Олень». Однажды зашли мы туда с приятелем. Сели обедать.

В антракте Илья подсел к нам и говорит:

— Завидую я вам, ребята. Едите, пьете, ухаживаете за женщинами, и для вас это радость. А для меня — суровые трудовые будни!

Знаменитому артисту Константину Васильевичу Скоробогатову дали орден Ленина. В Пушкинском театре было торжественное

собрание. Затем — банкет. Все произносили здравицы и тосты.

Скоробогатов тоже произнес речь. Он сказал:

— Вот как интересно получается. Сначала дали орден Николаю Константиновичу Черкасову. Затем — Николаю Константиновичу Симонову. И наконец мне, Константину Васильевичу Скоробогатову...

Он помолчал и добавил:

— Уж не в Константине ли тут дело?!

Писатель Уксусов: «Над городом поблескивает шпиль Адмиралтейства. Он увенчан фигурой ангела НАТУРАЛЬНОЙ величины».

У того же автора: «Коза закричала нечеловеческим голосом...»

Два плаката на автостраде с интервалом в километр. Первый:

«Догоним и перегоним Америку...»

Второй:

«В узком месте не обгоняй!»

Голявкин часто навещался в рюмочную у Исаакиевского собора. Звонил оттуда жене. Жена его спрашивала:

— Где ты находишься?

— Да так, у Исаакиевского собора.

Однажды жена не выдержала:

— Что ты все делаешь у Исаакиевского собора?! Подумаешь — Монферран!

Панфилов был генеральным директором объединения «ЛОМО». Слыл человеком грубым, резким, но отзывчивым. Рабочие часто обращались к нему с просьбами и жалобами. И вот он получает конверт. Достает оттуда лист наждачной бумаги. На обратной стороне заявление — прошу, мол, дать квартиру. И подпись — «рабочий Фоменко».

Панфилов вызвал этого рабочего. Спрашивает:

— Что это за фокусы?

— Да вот, нужна квартира. Пятый год на очереди.

— А при чем тут наждак?

— А я решил — обычную бумагу директор в туалете на гвоздь повесит...

Говорят, Панфилов дал ему квартиру. А заявление продемонстрировал на бюро обкома.

Цуриков, парень огромного роста, ухаживал в гостях за миниатюрной девицей. Шаблинский увещевал его:

— Не смей! Это плохо кончится!

— А что такое?

— Ты кончишь, она лопнет.

Этот случай произошел зимой в окрестностях Караганды. Терпел аварию огромный пассажирский самолет. В результате спасся единственный человек. Он как-то ловко распахнул пальто и спланировал. Повис на сосновых ветках. Затем упал в глубокий сугроб. Короче, выжил.

Его фотографию поместила всесоюзная газета. Через сутки в редакцию явилась женщина. Она кричала:

— Где этот подлец?! У меня от него четверо детей! Я его двенадцатый год разыскиваю с исполнительным листом!

Ей дали телефон и адрес. Она тут же села звонить в милицию.

В Ленинград приехал Марк Шагал. Его повели в Театр имени Горького. Там его увидел в зале художник Ковенчук.

Он быстро нарисовал Шагала. В антракте подошел к нему и говорит:

— Это шарж на вас, Марк Захарович.

Шагал в ответ:

— Не похоже.

Ковенчук:

— А вы поправьте.

Шагал подумал, улыбнулся и ответил:

— Это вам будет слишком дорого стоить.

Драматург Альшиц сидел в лагере. Ухаживал за женщиной из лаггадминистрации в чине майора. Готовил вместе с ней какое-то представление. Репетировали они до поздней ночи.

Весь лагерь следил, как подвигаются его дела. И вот наступила решающая фаза. Это должно было случиться вечером. Все ждали.

Альшиц явился в барак позже обычного. Ему дали закурить, вскипятили чайник. Потом зеки сели вокруг и говорят:

— Ну, рассказывай.

Альшиц помедлил и голосом опытного рассказчика начал:

— Значит, так. Расстегиваю я на гражданине майоре китель...

Как известно, все меняется. Помню, работал я в молодости учеником камнереза (Комбинат ДПИ). И старые работяги мне говорили:

— Сбегай за водкой. Купи бутылок шесть. Останется мелочь — возьми чего-то на закуску. Может, копченой трески. Или еще какого-нибудь говна.

Проходит лет десять. Иду я по улице. Вижу — очередь. Причем от угла Невского и Рубинштейна до самой Фонтанки. Спрашиваю — что, мол, дают?

В ответ раздается:

— Как что? Треску горячего копчения!

У футболиста Ерофеева была жена. Звали ее Нонна. Они часто ссорились. Поговаривали, что Нонна ему изменяет. Наказывал он жену своеобразно. А именно — ставил ее в дверях. Клал перед собой мяч. А затем разбежался и наносил по жене штрафной удар. Чаще всего Нонна падала без сознания.

Шло какое-то ученое заседание. Выступал Макогоненко. Бялый перебил его: — Долго не кончать — преимущество мужчины! Мужчины, а не оратора!

Юрий Олеша подписывал договор с филармонией. Договор был составлен традиционно:

«Юрий Карлович Олеша, именуемый в дальнейшем «автор»... Московская государственная филармония, именуемая в дальнейшем «заказчик»... Заключают настоящий договор в том, что автор обязуется...» И так далее.

Олеша сказал:

— Меня такая форма не устраивает.

— Что именно вас не устраивает, Юрий Карлович?

— Меня не устраивает такая форма: «Юрий Карлович Олеша, именуемый в дальнейшем „автор“».

— А как же вы хотите?
— Я хочу по-другому.
— Ну так как же?
— Я хочу так: «Юрий Карлович Олеша, именуемый в дальнейшем
— „Юра”».

Году в тридцать шестом, если не ошибаюсь, умер Ильф. Через некоторое время Петрову дали орден Ленина. По этому случаю была организована вечеринка. Присутствовал Юрий Олеша. Он много выпил и держался несколько по-хамски. Петров обратился к нему:

— Юра! Как ты можешь оскорблять людей?!

В ответ прозвучало:

— А как ты можешь носить орден покойника?!

Моя тетка встретила писателя Косцинского. Он был пьян и небрит. Тетка сказала:

— Кирилл! Тебе не стыдно?!

Косцинский приосанился и ответил:

— Советская власть не заслужила, чтобы я брился!

Шла как-то раз моя тетка по улице. Встретила Зощенко. Для писателя уже наступили тяжелые времена. Зощенко, отвернувшись, быстро прошел мимо.

Тетка догнала его и спрашивает:

— Отчего вы со мной не поздоровались?

Зощенко ответил:

— Извините. Я помогаю друзьям не здороваться со мной.

Николай Тихонов был редактором альманаха. Тетка моя была секретарем этого издания. Тихонов попросил ее взять у Бориса Корнилова стихи. Корнилов дать стихи отказался.

— Клал я на вашего Тихонова с прибором, — заявил он.

Тетка вернулась и сообщает главному редактору:

— Корнилов стихов не дает. Клал, говорит, я на вас с ПРОБОРОМ.

— С прибором, — раздраженно исправил Тихонов, — с прибором. Неужели трудно запомнить?!

В двадцатые годы моя покойная тетка была начинающим редактором. И вот она как-то раз бежала по лестнице. И, представьте себе, неожиданно ударилась головой в живот Алексея Толстого. — Ого, — сказал Толстой, — а если бы здесь находился глаз?!

Умер Алексей Толстой. Коллеги собрались на похороны. Моя тетка спросила писателя Чумандрина:

— Миша, вы идете на похороны Толстого?

Чумандрин ответил:

— Я так прикинул. Допустим, умер не Толстой, а я, Чумандрин. Явился бы Толстой на мои похороны? Вряд ли. Вот и я не пойду.

Писатель Чумандрин страдал запорами. В своей уборной он повесил транспарант: «Трудно — не означает: невозможно!»

Мейлах работал в ленинградском Доме кино. Вернее, подрабатывал. Занимался синхронным переводом. И вот как-то раз он переводил американский фильм. Действие там переносилось из Америки во Францию. И обратно. Причем в картине была использована несложная эмблема. А именно, если герои оказывались в Париже, то мелькала Эйфелева башня. А если в Нью-Йорке, то Бруклинский мост. Каждый раз добросовестный Мейлах произносил:

— Нью-Йорк... Париж... Нью-Йорк... Париж...

Наконец это показалось ему утомительным и глупым. Мейлах замолчал.

И тут в зале раздался голос с кавказским акцентом:

— Какая там следующая остановка?

Мейлах слегка растерялся и говорит:

— Нью-Йорк.

Тот же голос произнес:

— Стоп! Я выхожу.

У одного знаменитого режиссера был инфаркт. Слегка оправившись, режиссер вновь начал ухаживать за молодыми женщинами. Одна из них деликатно спросила:

— Разве вам ЭТО можно?

Режиссер ответил:

— Можно... Но плавно...

У Хрущева был верный соратник — Подгорный. Когда-то он был нашим президентом. Через месяц после снятия все его забыли. Хотя формально он был много лет главой советского правительства.

Впрочем, речь не об этом. В 63-м году он посетил легендарный крейсер «Аврора». Долго его осматривал. Беседовал с экипажем. Оставил запись в книге почетных гостей. Написал дословно следующее:

«Посетил боевой корабль. Произвел неизгладимое впечатление!»

Одного нашего знакомого спросили:

— Что ты больше любишь — водку или спирт?

Тот ответил:

— Ой, даже не знаю. И то и другое настолько вкусно!..

Академик Козырев сидел лет десять. Обвиняли его в попытке угнать реку Волгу. То есть буквально угнать из России — на Запад.

Козырев потом рассказывал:

— Я уже был тогда грамотным физиком. Поэтому, когда сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато, когда объявляли приговор, мне было не до смеха.

По ленинградскому телевидению демонстрировался боксерский матч. Негр, черный, как вакса, дрался с белокурым поляком.

Диктор пояснил:

— Негритянского боксера вы можете отличить по светло-голубой каемке на трусах.

Борис Раевский сочинил повесть из дореволюционной жизни. В ней была такая фраза (речь шла о горничной): «...Чудесные светлые локоны выбивались из-под ее кружевного ФАРТУКА...»

Псевдонимы: Михаил Юрьевич Вермутов, Шолохов-Алейхем.

В Тбилиси проходила конференция на тему — «Оптимизм советской литературы». Было множество выступающих. В том числе — Наровчатов, который говорил про оптимизм советской литературы.

Вслед за ним поднялся на трибуну грузинский литературовед Кемоклидзе:

— Вопрос предыдущему оратору.

— Пожалуйста.

— Я относительно Байрона. Он был молодой?

— Что? — удивился Наровчатов. — Байрон? Джордж Байрон? Да, он погиб сравнительно молодым человеком. А что?

— Ничего особенного. Еще один вопрос про Байрона. Он был красивый?

— Кто, Байрон? Да, Байрон, как известно, обладал весьма эффектной наружностью. А что? В чем дело?

— Да так. Еще один вопрос. Он был зажиточный?

— Кто? Байрон? Ну, разумеется. Он был лорд. У него был замок. Он был вполне зажиточный. И даже богатый. Это общеизвестно.

— И последний вопрос. Он был талантливый?

— Байрон? Джордж Байрон? Байрон — величайший поэт Англии! Я не понимаю, в чем дело?!

— Сейчас поймешь. Вот смотри. Джордж Байрон! Он был молодой, красивый, богатый и талантливый. И он был — пессимист! А ты — старый, нищий, уродливый и бездарный! И ты — оптимист!

В Ленинграде есть комиссия по работе с молодыми авторами. Вызвали на заседание этой комиссии моего приятеля и спрашивают:

— Как вам помочь? Что нужно сделать? Что нужно сделать в первую очередь?

Приятель ответил, грассируя:

— В первую очередь? Отгезать мосты, захватить телефон и почтайт!..

Члены комиссии вздрогнули и переглянулись.

Марамзин говорил:

— Если дать рукописи Брежневу, он скажет:

«Мне-то нравится. А вот что подумают наверху?!..»

У меня был родственник — Аптекман. И вот он тяжело заболел. Его увозила в больницу «скорая помощь». Он сказал врачу:

— Доктор, вы фронтовик?

— Да, я фронтовик.

— Могу я о чем-то спросить вас как фронтовик фронтовика?

— Конечно.

— Долго ли я пролежу в больнице?

Врач ответил:

— При благоприятном стечении обстоятельств — месяц.

— А при неблагоприятном, — спросил Аптекман, — как я догадываюсь, значительно меньше?

У директора Ленфильма Киселева был излюбленный собирательный образ. А именно — Дунька Распердяева. Если директор был недоволен кем-то из сотрудников Ленфильма, он говорил:

— Ты ведешь себя, как Дунька Распердяева.

Или:

— Монтаж плохой. Дунька Распердяева и та смонтировала бы лучше...

Или:

— На кого рассчитан этот фильм? На Дуньку Распердяеву?!..

И так далее.

Как-то раз на Ленфильм приехала Фурцева. Шло собрание в актовом зале. Киселев произносил речь. В этой речи были нотки самокритики. В частности, директор сказал:

— У нас еще много пустых, бессодержательных картин. Например, «Человек ниоткуда». Можно подумать, что его снимала Дунька...

И тут директор запнулся. В президиуме сидит министр культуры Фурцева. Кроме всего прочего — дама. А тут вдруг — Дунька Распердяева. Звучит не очень-то прилично.

Киселев решил смягчить формулировку.

— Можно подумать, что его снимала Дунька... Раздолбаева, — закончил он.

И тут долетел из рядов чей-то бесхитростный возглас:

— А что, товарищ Киселев, никак Дунька Распердяева замуж вышла?!

Случилось это в Пушкинских Горах. Шел я мимо почтового отделения. Слышу женский голос — барышня разговаривает по

междугородному телефону: — Клара! Ты меня слышишь?! Ехать не советую! Тут абсолютно нет мужиков! Многие девушки уезжают, так и не отдохнув!

Указ: «За успехи в деле многократного награждения товарища Брежнева орденом Ленина наградить орденом Ленина — орденом Ленина!»

Самое большое несчастье моей жизни — гибель Анны Карениной!

Соло на IBM

Бегаю по инстанциям. Собираю документы. На каком-то этапе попадаете мне абсолютно бестолковая старуха. Кого-то временно замещает. Об эмиграции слышит впервые. Брезгливый испуг на лице.

Я ей что-то объясняю, втолковываю. Ссылаюсь на правила ОВИРа.

ОВИР, мол, требует. ОВИР настаивает. ОВИР считает целесообразным...

Наконец получаю требуемую бумагу. Выхожу на лестницу. Перечитываю. Все по форме. Традиционный канцелярский финал:

«Справка дана (Ф.И.О.), выезжающему...»

И неожиданная концовка:

«...на постоянное место жительства — в ОВИР».

Самолет приближался к Нью-Йорку. Из репродукторов донеслось:

«Идем на посадку. Застегните ремни!»

Пассажир обратился к жене:

— Идем на посадку.

Шестилетняя девочка обернулась к матери:

— Мама! Они все идут на посадку! А мы?

Был у меня в Одессе знакомый поэт и спортсмен Леня Мак.

И вот он решил бежать за границу. Переплыть Черное море и сдаться турецкому командованию.

Мак очень серьезно готовился к побегу. Купил презервативы. Наполнил их шоколадом. Взял грелку с питьевой водой.

И вот приходит он на берег моря. Снимает футболку и джинсы. Плышет. Удаляется от берега. Милю проплыл, вторую...

Потом он мне рассказывал:

— Я вдруг подумал: джинсы жалко! Я ведь за них сто шестьдесят рублей уплатил. Хоть бы подарил кому-нибудь... Плыву и все об этом думаю. Наконец повернул обратно. А через год уехал по израильскому вызову.

Загадка Фолкнера. Смесь красноречия и недоговоренности.

Цинизм предполагает общее наличие идеалов. Преступление — общее наличие законов. Богохульство — общее наличие веры. И так далее. А что предполагает убожество? Ничего.

Он изъяснялся в стиле «форчен-кукис»:

«Главное в жизни — труд! Берегите свое здоровье!» И так далее.

Истины на розовых бумажках. Да еще и запеченные в тесте.

Хасидская колония. Черно-белый фильм в мире цветного кинематографа.

В советских фильмах, я заметил, очень много лишнего шума. Радио орет, транспорт грохочет, дети плачут, собаки лают, воробьи чирикают. Не слышно, что там произносят герои. Довольно странное предрасположение к шуму. Что-то подобное я ощущал в ресторанах на Брайтоне. Где больше шума, там и собирается народ. Может, в шуме легче быть никем?

Чем дольше я занимаюсь литературой, тем яснее ощущаю ее физиологическую подоплеку. Чтобы родить (младенца или книгу), надо прежде всего зачать. Еще раньше — сойтись, влюбиться.

Что такое вдохновение?

Я думаю, оно гораздо ближе к влюбленности, чем принято считать.

Рассуждения Гессе о Достоевском. Гессе считает, что все темное, бессознательное, неразборчивое и хаотическое — это Азия. Наоборот, самосознание, культура, ответственность, ясное разделение дозволенного и запрещенного — это Европа. Короче, бессознательное — это Азия, зло. А все сознательное — Европа и благо. Гессе был наивным человеком прошлого столетия. Ему и в голову не приходило, что зло может быть абсолютно сознательным. И даже — принципиальным.

Всякая литературная материя делится на три сферы:

1. То, что автор хотел выразить.
2. То, что он сумел выразить.
3. То, что он выразил, сам этого не желая.

Третья сфера — наиболее интересная.

У Генри Миллера, например, самое захватывающее — драматический, выстраданный оптимизм.

США: Все, что не запрещено — разрешено. СССР: Все, что не разрешено — запрещено.

Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик — на уровне сердца, ума и души. Писатель — на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик — о том, как должны жить люди. Писатель — о том, ради чего живут люди.

Сильные чувства — безнациональны. Уже одно это говорит в пользу интернационализма. Радость, горе, страх, болезнь — лишены национальной окраски. Не абсурдно ли звучит: «Он разрыдался, как типичный немец».

В Америке больше религиозных людей, чем у нас. При этом здешние верующие способны рассуждать о накопительстве. Или, допустим, о биржевых махинациях. В России такого быть не может. Это потому, что наша религия всегда была облагорожена литературой. Западный верующий, причем истинно верующий, может быть эгоистом, деягой. Он не читал Достоевского. А если читал, то не «жил им».

Двое писателей. Один преуспевающий, другой — не слишком. Который не слишком, задает преуспевающему вопрос:

— Как вы могли продаться советской власти?

Преуспевающий задумался. Потом спросил:

— А вы когда-нибудь продавались?

— Никогда, — был ответ.

Преуспевающий еще с минуту думал. Затем поинтересовался:

— А вас когда-нибудь покупали?

«Соединенные Штаты Армении...»

Окружающие любят не честных, а добрых. Не смелых, а чутких. Не принципиальных, а снисходительных. Иначе говоря — беспринципных.

Россия — единственная в мире страна, где литератору платят за объем написанного. Не за количество проданных экземпляров. И тем более — не за качество. А за объем. В этом тайная, бессознательная причина нашего катастрофического российского многословия.

Допустим, автор хочет вычеркнуть какую-нибудь фразу. А внутренний голос ему подсказывает:

«Ненормальный! Это же пять рублей! Кило говядины на рынке...»

После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов.

Мучаюсь от своей неуверенности. Ненавижу свою готовность расстраиваться из-за пустяков. Изнемогаю от страха перед жизнью. А ведь это единственное, что дает мне надежду. Единственное, за что я должен благодарить судьбу. Потому что результат всего этого — литература.

Персонажи неизменно выше своего творца. Хотя бы уже потому, что не он ими распоряжается. Наоборот, они — им командуют.

Вариант рекламного плаката — «Летайте самолетами Аэрофлота!». И в центре — портрет невозвращенца Барышникова.

Было это еще в Союзе. Еду я в электричке. Билет купить не успел.

Заходит контролер:

— Ваш билет? Документы?!

Документов у меня при себе не оказалось.

— Идемте в пикет, — говорит контролер, — для установления личности.

Я говорю:

— Зачем же в пикет?! Я и так сообщу вам фамилию, место работы, адрес.

— Так я вам и поверил!

— Зачем же, — говорю, — мне врать? Я — Альтшуллер Лазарь Самуилович. Работаю в Ленкниготорге, Садовая, шесть. Живу на улице Марата, четырнадцать, квартира девять.

Все это было чистой ложью. Но контролер сразу же мне поверил. И расчет мой был абсолютно прост. Я заранее вычислил реакцию контролера на мои слова.

Он явно подумал:

«Что угодно может выдумать человек. Но добровольно стать Альтшуллером — уж извините! Этого не может быть! Значит, этот тип сказал правду».

И меня благополучно отпустили.

Каково было в раю до Христа?

Семья — это если по звуку угадываешь, кто именно моется в душе.

Возраст у меня такой, что, покупая обувь, я каждый раз задумываюсь: «Не в этих ли штиблетах меня будут хоронить?»

Любить кого-то сильнее, чем его любит Бог. Это и есть сентиментальность. Кажется, об этом писал Сэлинджер.

Желание командовать в посторонней для себя области есть тирания.

Вышел из печати том статей Наврозова. Открываю первую страницу: «Пердисловие».

Реклама:

«Если это отсутствует у нас, Значит, этого нет в природе!»

«Если это отсутствует у нас, Значит, вам это не требуется!»

И наконец:

«Если это отсутствует у нас, Значит, вам пора менять очки!»

Благородство — это готовность действовать наперекор собственным интересам.

Любой выпускник Академии имени Баумана знает о природе не меньше, чем Дарвин. И все-таки Дарвин — гений. А выпускник, как правило, рядовой отечественный служащий. Значит, дело в нравственном порыве. Зек машет лопатой иначе, чем ученый, раскапывающий Трою.

Балерина — Калория Федичева.

В Америке колоссальным успехом пользовались мемуары знаменитого банкира Нельсона Рокфеллера. Неплохо бы перевести их на русский язык. Заглавие можно дать такое: «Иду ва-банк!»

Умер наш знакомый в Бруклине. Мы с женой заехали провести его дочку и вдову.

Сидит дочь, хозяйка продовольственного магазина. Я для приличия спрашиваю:

— Сколько лет было Мише?

Дочка отвечает:

— Сколько лет было папе? Лет семьдесят шесть. А может, семьдесят восемь. А может, даже и семьдесят пять... Ей-богу, не помню. Такая страшная путаница в голове — цены, даты...

У соседей были похороны. Сутки не смолкала жизнерадостная музыка. Доносились возгласы и хохот. Мать зашла туда и говорит:

— Как вам не стыдно! Ведь Григорий Михайлович умер.

Гости отвечают:

— Так мы же за него и пьем!

Владимир Максимов побывал как-то раз на званом обеде. Давал его великий князь Чавчавадзе. Среди гостей присутствовала Аллилуева. Максимов потом рассказывал: — Сидим, выпиваем, беседуем. Слева — Аллилуева. Справа — великий князь. Она — дочь Сталина. Он — потомок государя. А между ними — я. То есть народ. Тот самый, который они не поделили.

Главный конфликт нашей эпохи — между личностью и пятном.

Гений враждебен не толпе, а посредственности.

Гений — это бессмертный вариант простого человека.

Когда мы что-то смутно ощущаем, писать вроде бы рановато. А когда нам все ясно, остается только молчать. Так что нет для литературы подходящего момента. Она всегда некстати.

Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят.

Звонит моей жене приятельница:

— Когда у твоего сына день рождения? И какой у него размер обуви?

Жена говорит:

— Что это ты придумала?! Ни в коем случае! В Америке такая дорогая обувь!

Приятельница в ответ:

— При чем тут обувь? Я ему носки хотела подарить.

В искусстве нет прогресса. Есть спираль. Поразительно, что это утверждали такие разные люди, как Бурлюк и Ходасевич. Есть люди настоящего, прошлого и будущего. В зависимости от фокуса жизни.

Бойтесь данайцев, приносящих donations!

В «Кавказском» ресторане на Брайтоне обдeldывались темные дела. Известный гангстер Шалико просил руководителя оркестра: — Играй погромче. У меня сегодня важный разговор!

Человек эпической низости.

Мой отец — человек поразительного жизнелюбия. Смотрели мы, помню, телевизор. Показывали 80-летнего Боба Хоупа. Я сказал:

— Какой развязный старик!

Отец меня поправил:

— Почему — старик? Он примерно моего возраста.

Человек звонит из Нью-Йорка в Тинек:

— Простите, у нас сегодня льготный тариф?

— Да.

— В таком случае — здравствуйте! Поздравляю вас с Новым годом!

Противоположность любви — не отвращение. И даже не равнодушие. А ложь. Соответственно, антитеза ненависти — правда.

Встретил я экономиста Фельдмана. Он говорит:

— Вашу жену зовут Софа?

— Нет, — говорю, — Лена.

— Знаю. Я пошутил. У вас нет чувства юмора. Вы, наверное, латыш?

— Почему латыш?

— Да я же пошутил. У вас совершенно отсутствует чувство юмора. Может, к логопеду обратитесь?

— Почему к логопеду?

— Шучу, шучу. Где ваше чувство юмора?..

Туризм — жизнедеятельность праздных.

Мы не лучше коренных американцев. И уж конечно, не умнее. Мы всего лишь побывали на конечной остановке уходящего троллейбуса.

Логика эмигрантского бизнеса. Начинается он, как правило, в русском шалмане. Заканчивается — в американском суде.

Любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом.

— Доктор, как моя теща? Что с ней?!

— Обширный инфаркт. Состояние очень тяжелое.

— Могу я надеяться?

— Смотря на что.

Известный диссидент угрожал сотруднику госбезопасности: — Я требую вернуть мне конфискованные рукописи. Иначе я организую публичное самосожжение моей жены Галины!

Он ложился рано. Она до часу ночи смотрела телевизор. Он просыпался в шесть. Она — в двенадцать. Через три месяца они развелись. И это так естественно.

В каждом районе есть хоть один человек с лицом, покрытым незаживающими царапинами.

Талант — это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее — симулировать.

Самые яркие персонажи в литературе — неудавшиеся отрицательные герои. (Митя Карамазов.) Самые тусклые — неудавшиеся положительные. (Олег Кошевой.)

«Натюрморт из женского тела...»

Есть люди, склонные клятвенно заверять окружающих в разных пустяках: — Сам я из Гомеля. Клянусь честью, из Гомеля!.. Меня зовут Арон, жена не даст соврать!..

Критика — часть литературы. Филология — косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри. Филолог — с ближайшей колокольни.

В Ленинград прилетел иностранный государственный деятель. В аэропорту звучала музыка. Раздавался голос Аллы Пугачевой. Динамики были включены на полную мощность:

Жениться по любви,
Жениться по любви
Не может ни один,
Ни один король...

Приезжий государственный деятель был — король Швеции. Его сопровождала молодая красивая жена.

Ленинград. Гигантская очередь. Люди стоят вместе часов десять. Естественно, ведутся разговоры. Кто-то говорит:

— А город Жданов скоро обратно переименуют в Мариуполь.

Другой:

— А Киров станет Вяткой.

Третий:

— А Ворошиловград — Луганском.

Какой-то мужчина восклицает:

— Нам, ленинградцам, в этом отношении мало что светит.

Кто-то возражает ему:

— А вы бы хотели — Санкт-Петербург? Как при царе-батюшке?

В ответ раздается:

— Зачем Санкт-Петербург? Хотя бы Петроград. Или даже — Питер.

И все обсуждают эту тему. А ведь лет пять назад за такие разговоры могли и убить человека. Причем не «органы», а толпа.

В Ленинград приехал знаменитый американский кинорежиссер Майлстоун. Он же — Леня Мильштейн из Одессы. Встретил на Ленфильме друга своей молодости Герберта Раппопорта. Когда-то они жили в Германии. Затем пришел к власти Гитлер. Мильштейн эмигрировал в Америку. Раппопорт — в СССР. Оба стали видными кинодеятелями. Один — в Голливуде, другой — на Ленфильме. Где они наконец и встретились.

Пошли в кафе. Сидят, беседуют. И происходит между ними такой разговор.

Леонард Майлстоун:

— Я почти разорен. Последний фильм дал миллионные убытки. Вилла на Адриатическом море требует ремонта. Автомобильный парк не обновлялся четыре года. Налоги достигли семизначных цифр...

Герберт Раппопорт:

— А у меня как раз все хорошо. Последнему фильму дали высшую категорию. Лето я провел в Доме творчества Союза кинематографистов. У меня «Жигули». Занял очередь на кооператив. Налоги составляют шесть рублей в месяц...

Сосед наш Альперович говорил: — Мы с женой решили помочь армянам. Собрали вещи. Отвезли в АРМЯНСКУЮ СИНАГОГУ.

Моя жена говорила нашей взрослой дочери: — Мой день кончается вечером. А твой — утром.

Спортивный комментатор Озеров ехал по Москве в автомобиле. Увидел на бульваре старика Ворошилова. Подъехал:

— Разрешите, — говорит, — отвезу вас домой.

— Спасибо, я уже почти дома.

Озеров стал настаивать. Ворошилов кивнул. Сел в машину.

Подъехали к дому. Попрощались. Озеров уже развернулся. Неожиданно старик возвращается и говорит, запыхавшись:

— Внуки мне не простят, если узнают... Скажут — ну и дед! С Озеровым в машине ехал и автографа не попросил... Так что распишитесь вот здесь, пожалуйста.

Один глубочайший старик рассказывал мне такую поучительную историю:

«Было мне лет двадцать. И познакомился я с одной начинающей актрисой. Звали эту женщину Нинель. Я увлекся. Был роман. Мы ходили в кинематограф. Катались на лодке. Однако так и не поженились. И остался я вольным, как птица.

Проходит двадцать лет. Раздается телефонный звонок. «Вы меня не узнаете? Я Нинель. Моя дочь поступает в театральный институт. Не могли бы вы, известный режиссер, ее проконсультировать?» Я говорю: «Заходите».

И вот она приходит. Страшно постаревшая. Гляжу и думаю: как хорошо, что мы не поженились! Она — старуха! Я все еще молод. А рядом — юная очаровательная дочь по имени Эстер.

Мы посидели, выпили чаю. Я назначил время для консультации.

Мы встретились, позанимались. Я увлекся. Был роман. Мы ходили в кинематограф. Катались на лодке. Однако так и не поженились. И остался я вольным, как птица.

Проходит двадцать лет. Раздается телефонный звонок. «Вы меня не узнаете? Я Эстер. Моя дочь поступает в театральный институт. Не могли бы вы, известный режиссер, ее проконсультировать?» Я говорю: «Заходите».

И вот она приходит. Страшно постаревшая. Гляжу и думаю: как хорошо, что мы не поженились! Она — старуха! Я все еще молод. А рядом — юная очаровательная дочь по имени Юдифь.

Мы посидели, выпили чаю. Я назначил время для консультации.

Мы встретились, позанимались. Я увлекся. Был роман. Мы ходили в кинематограф. Она катала меня на лодке. Однако так мы и не

поженились. И остался я, — закончил старик, глухо кашляя, — вольным, как птица».

Один наш приятель всю жизнь мечтал стать землевладельцем. Он восклицал:

— Как это прекрасно — иметь хотя бы горсточку собственной земли!

В результате друзья подарили ему на юбилей горшок с цветами.

Двое ребят оказались в афганском плену. Затем перебрались в Канаду. Затем один из них решил вернуться домой. Второй пытался его отговорить. Тот ни в какую. «Девушка, говорит, у меня в Полтаве. Да и по матери соскучился». Первый ему говорит:

— Ну, ладно. Решил, так езжай. Но у меня к тебе просьба. Дай мне знак, как сложатся обстоятельства. Пришли мне свою фотографию. Если все будет нормально, то пришли мне обычную фотку. А если худо, то пришли мне фотку с беломориной в руке.

Так и договорились.

Юноша отправился в советское посольство. Уехал на родину. Через некоторое время был арестован. Получил несколько лет за дезертирство.

Проходит месяц. Приезжает в лагерь капитан госбезопасности. Находит этого молодого человека. Говорит ему:

— Пиши открытку своему дружку в Канаду. Я буду диктовать, а ты пиши. «Дорогой Виталий! С приветом к тебе ближайший друг Андрей. Уже шесть месяцев, как я вернулся на родину. Встретили меня отлично. Мать жива-здорова. Девушка моя Наталка шлет тебе привет. Я выучился на бульдозериста. Зарабатываю неплохо, чего и тебе желаю. Короче, мой тебе совет — возвращайся!..» Ну и так далее.

И тут Андрей спрашивает капитана госбезопасности:

— А можно, я ему свою фотку pošлю?

Тот говорит:

— Прекрасная идея. Только месяц-другой подождем, чтобы волосы отросли. Я к этому времени тебе гражданскую одежду привезу.

Проходит два месяца. Приезжает капитан. Диктует зеку очередное сентиментальное письмо. Затем Андрей надевает гражданский

костюм. Его под конвоем уводят из лагеря. Фотографируют на фоне пышных таежных деревьев.

Друг его в Канаде распечатывает письмо. Читает: живу, мол, хорошо. Зарабатываю отлично. Наталка кланяется... Мой тебе совет — возвращайся на родину. И тому подобное. Ко всему этому прилагается фото. Стоит Андрей на фоне деревьев. Одет в приличный гражданский костюм. И в каждой руке у него — пачка «Беломора»!

Основа всех моих занятий — любовь к порядку. Страсть к порядку. Иными словами — ненависть к хаосу.

Кто-то говорил:

«Точность — лучший заменитель гения».

Это сказано обо мне.

Опечатки: «Джинсы с тоником», «Кофе с молотком».

Чемпионат страны по метанию бисера.

— Что может быть важнее справедливости? — Важнее справедливости? Хотя бы — милость к падшим.

Португалия. Обед в гостинице «Ритц». Какое-то невиданное рыбное блюдо с овощами. Помню, хотелось спросить: — Кто художник?

Дело было в кулуарах лиссабонской конференции. Помню, Энн Гетти сбросила мне на руки шубу. Несу я эту шубу в гардероб и думаю: «Продать бы отсюда ворсинок шесть. И потом лет шесть не работать».

Гласность — это правда, умноженная на безнаказанность.

Все кричат — гласность, гласность! А где же тогда статьи, направленные против гласности?

Гласность есть, а вот слышимость плохая. Многие думают: чтобы быть услышанным, надо выступать хором. Ясно, что это не так. Только одинокие голоса мы слышим. Только солисты внушают доверие.

Горбачев побывал на спектакле Марка Захарова. Поздно вечером звонит режиссеру:

— Поздравляю! Спектакль отличный! Это — пердуха!

Захаров несколько смутился и думает:

«Может, у номенклатуры такой грубоватый жаргон? Если им что-то нравится, они говорят: «Пердуха! Настоящая пердуха!»

А Горбачев твердит свое:

— Пердуха! Пердуха!

Наконец Захаров сообразил: «Пир духа!» Вот что подразумевал генеральный секретарь.

Я не интересуюсь тем, что пишут обо мне. Я обижаюсь, когда не пишут.

Из студенческого капустника ЛГУ (1962):

Огней немало золотых
На улицах Саратова,
Парней немало холостых,
А я люблю Довлатова...

О многих я слышал:

«Под напускной его грубостью скрывалась доброта...»

Зачем ее скрывать? Да еще так упорно?

У доктора Маклина был перстень. Из этого перстня выпал драгоценный камешек. Требовалась небольшая ювелирная работа.

И появляется вдруг у Маклина больной. Ювелир по специальности. И даже вроде бы хозяин ювелирного магазина. Разглядывает перстень и говорит:

— Доктор! Вы меня спасли от радикулита. Разрешите и мне оказать вам услугу? Я это кольцо почию. Причем бесплатно...

И пропадает. Месяц не звонит, два, три.

Маклин решил — кольцо пропало. И не стал расстраиваться. Украли, ну и ладно...

Проходит месяца четыре. Вдруг звонит этот больной-ювелир.

— Простите, доктор, я был очень занят. Колечко ваше я обязательно почию. Причем бесплатно. Занесу его в четверг. А вы уж решили — пропал Шендерович?.. Кстати, может, вам на этом перстне гравировку сделать?

— Спасибо, — Маклин отвечает, — гравировка — это лишнее. Камень укрепите, и все.

— Не беспокойтесь, — говорит ювелир, — в четверг увидимся.

И пропадает. Теперь уже навсегда. Доктор Маклин, когда рассказывал эту историю, все удивлялся:

— Зачем он позвонил?..

И действительно — зачем?

Л. Я. Гинзбург пишет: «Надо быть, как все».

И даже настаивает: «Быть, как все...»

Мне кажется, это и есть гордыня. Мы и есть, как все. Самое удивительное, что и Толстой был, как все.

Снобизм — это единственное растение, которое цветет даже в пустыне.

Самая кровавая дуэль — бой призраков.

— Вы слышали, Моргулис заболел! — Интересно, зачем ему это понадобилось?

Божий дар как сокровище. То есть буквально — как деньги. Или — ценные бумаги. А может, ювелирное изделие. Отсюда — боязнь лишиться. Страх, что украдут. Тревога, что обесценится со временем. И еще — что умрешь, так и не потратив.

Мещане — это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо.

Судят за черты характера. Осуждают за свойства натуры.

Что такое демократия? Может быть, диалог человека с государством?

Грузин в нашем районе торгует шашлыками.

Женщина обиженно спрашивает:

— Чего это вы дали тому господину хороший шашлык, а мне — плохой?

Грузин молчит.

— Я спрашиваю, чего это вы дали тому господину хороший шашлык, а мне — плохой?!

Грузин молчит.

Женщина опять:

— Я спрашиваю...

И так далее.

Грузин встает. Воздевает руки к небу. Звонко хлопает себя по лысине и отвечает:

— Потому что он мне нр-р-равится...

Чем объясняется факт идентичных литературных сюжетов у разных народов? По Шкловскому — самопроизвольным их возникновением. Это значит, что литература, в сущности, предрешена. Писатель не творит ее, а как бы исполняет, улавливая сигналы. Чувствительность к такого рода сигналам и есть Божий дар.

В повести может действовать герой. Но может действовать и его отсутствие. Один писатель старается «вскрыть». Другой пытается «скрыть». И то и другое — существенно.

Внутренний мир — предпосылка. Литература — изъятие внутреннего мира. Жанр — способ изъятия, прием. Талант — потребность в изъятии. Ремесло — дорога от внутреннего мира к приему.

Юмор — инверсия жизни. Лучше так: юмор — инверсия здравого смысла. Улыбка разума.

У любого животного есть сексуальные признаки. (Это помимо органов.) У рыб-самцов — какие-то чешуйки на брюхе. У насекомых — детали окраски. У обезьян — чудовищные мозоли на зад. У петуха, допустим, — хвост. Вот и приглядываешься к окружающим мужчинам — а где твой хвост? И без труда этот хвост обнаруживаешь. У одного — это деньги. У другого — юмор. У третьего — учтивость, такт. У четвертого — приятная внешность. У пятого — душа. И лишь у самых беззаботных — просто фаллос. Член как таковой.

Либеральная точка зрения: «Родина — это свобода». Есть вариант: «Родина там, где человек находит себя».

Одного моего знакомого провожали друзья в эмиграцию. Кто-то сказал ему:

— Помни, старик! Где водка, там и родина!

Собственнический инстинкт выражается по-разному. Это может быть любовь к собственному добру. А может быть и ненависть к чужому. У Лимонова плоть — слово. А надо, чтобы слово было плотью. Этому вроде бы учил Мандельштам.

Соцреализм с человеческим лицом. (Гроссман?)

Кающийся грешник хотя бы на словах разделяет добро и зло.

Кто страдает, тот не грешит.

Легко не красть. Тем более — не убивать. Легко не вожделеть жены своего ближнего. Куда труднее — не судить. Может быть, это и есть самое трудное в христианстве. Именно потому, что греховность тут неощутима. Подумаешь — не суди! А между тем «не суди» — это целая философия.

Творчество — как борьба со временем. Победа над временем. То есть победа над смертью. Пруст только этим и занимался.

Скудость мысли порождает легионы единомышленников.

Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой.

Когда-то я служил на ленинградском радио. Потом был уволен. Вскоре на эту должность стал проситься мой брат.

Ему сказали:

— Вы очень способный человек. Однако работать под фамилией Довлатов вы не сможете. Возьмите себе какой-нибудь псевдоним. Как фамилия вашей жены?

— Ее фамилия — Сахарова.

— Чудно, — сказали ему, — великолепно. Борис Сахаров! Просто и хорошо звучит.

Это было в 76-м году.

Знакомый писатель украл колбасу в супермаркете. На мои предостережения реагировал так: — Спокойно! Это моя борьба с инфляцией!

Существует понятие — «чувство юмора». Однако есть и нечто противоположное чувству юмора. Ну, скажем — «чувство драмы». Отсутствие чувства юмора — трагедия для писателя. Вернее, катастрофа. Но и отсутствие чувства драмы — такая же беда. Лишь Ильф с Петровым умудрились написать хорошие романы без тени драматизма.

Степень моей литературной известности такова, что, когда меня знают, я удивляюсь. И когда меня не знают, я тоже удивляюсь. Так что удивление с моей физиономии не сходит никогда.

Зенкевич похож на игрушечного Хемингуэя.

Беседовал я как-то с представителем второй эмиграции. Речь шла о войне. Он сказал:

— Да, нелегко было под Сталинградом. Очень нелегко...

И добавил:

— Но и мы большевиков изрядно потрепали!

Я замолчал, потрясенный глубиной и разнообразием жизни.

Напротив моего дома висит объявление: «Требуется ШВЕЙ»!

Дело происходит в нашей русской колонии. Мы с женой садимся в лифт. За нами — американская семья: мать, отец, шестилетний парнишка. Последним заходит немолодой эмигрант. Говорит мальчику:

— Нажми четвертый этаж.

Мальчик не понимает.

— Нажми четвертый этаж!

Моя жена вмешивается:

— Он не понимает. Он — американец.

Эмигрант не то что сердится. Скорее — выражает удивление:

— Русского языка не понимает? Совсем не понимает? Даже четвертый этаж не понимает?! Какой ограниченный мальчик!

Рассказывали мне такую историю. Приехал в Лодзь советский министр Громыко. Организовали ему пышную встречу. Пригласили местную интеллигенцию. В том числе знаменитого писателя Ежи Ружевица.

Шел грандиозный банкет под открытым небом. Произносились верноподданнические здравицы и тосты. Торжествовала идея польско-советской дружбы.

Громыко выпил сливовицы. Раскраснелся. Наклонился к случайно подвернувшемуся Ружевицу и говорит:

— Где бы тут, извиняюсь, по-маленькому?

— Вам? — переспросил Ружевиц.

Затем он поднялся, вытянулся и громогласно крикнул:

— Вам? Везде!!!

Лично для меня хрущевская оттепель началась с рисунков Збарского. По-моему, его иллюстрации к Олеше — верх совершенства. Впрочем, речь пойдет о другом.

У Збарского был отец, профессор, даже академик. Светило биохимии. В 1924 году он собственными руками мумифицировал Ленина.

Началась война. Святыню решили эвакуировать в Барнаул. Сопровождать мумию должен был академик Збарский. С ним ехали жена и малолетний Лева.

Им было предоставлено отдельное купе. Левушка с мумией занимали нижние полки.

На мумию, для поддержания ее сохранности, выдали огромное количество химикатов. В том числе — спирта, который удавалось обменивать на маргарин...

Недаром Збарский уважает Ленина. Благодарит его за относительно счастливое детство.

Молодой Александров был учеником Эйзенштейна. Ютился у него в общежитии Пролеткульта. Там же занимал койку молодой Иван Пырьев.

У Эйзенштейна был примус. И вдруг он пропал. Эйзенштейн заподозрил Пырьева и Александрова. Но потом рассудил, что Александров — модернист и западник. И старомодный примус должен быть ему морально чужд. А Пырьев — тот, как говорится, из народа...

Так Александров и Пырьев стали врагами. Так наметились два пути в развитии советской музыкальной кинокомедии. Пырьев снимал кино в народном духе. («Богатая невеста», «Трактористы».) Александров работал в традициях Голливуда. («Веселые ребята», «Цирк».)

Когда-то Целков жил в Москве и очень бедствовал. Евтушенко привел к нему Артура Миллера. Миллеру понравились работы Целкова. Миллер сказал:

— Я хочу купить вот эту работу. Назовите цену.

Целков ехидно прищурился и выпалил давно заготовленную тираду:

— Когда вы шьете себе брюки, то платите двадцать рублей за метр габардина. А это, между прочим, не габардин.

Миллер вежливо сказал:

— И я отдаю себе в этом полный отчет.

Затем он повторил:

— Так назовите же цену.

— Триста! — выкрикнул Целков.

— Триста — чего? Рублей?

Евтушенко за спиной высокого гостя нервно и беззвучно артикулировал:

«Долларов! Долларов!»

— Рублей? — переспросил Миллер.

— Да уж не копеек! — сердито ответил Целков.

Миллер расплатился и, сдержанно попрощавшись, вышел. Евтушенко обозвал Целкова кретином...

С тех пор Целков действовал разумнее. Он брал картину. Измерял ее параметры. Умножал ширину на высоту. Вычислял, таким образом, площадь. И объявлял неизменную твердую цену:

— Доллар за квадратный сантиметр!

Было это еще при жизни Сталина. В Москву приехал Арманд Хаммер. Ему организовали торжественную встречу. Даже имело место что-то вроде почетного караула.

Хаммер прошел вдоль строя курсантов. Приблизился к одному из них, замедлил шаг. Перед ним стоял высокий и широкоплечий русский молодец.

Хаммер с минуту глядел на этого парня. Возможно, размышлял о загадочной славянской душе.

Все это было снято на кино пленку. Вечером хронику показали товарищу Сталину. Вождя заинтересовала сцена — американец любуется русским богатырем. Вождь спросил:

— Как фамилия?

— Курсант Солоухин, — немедленно выяснили и доложили подчиненные.

Вождь подумал и сказал:

— Не могу ли я что-то сделать для этого хорошего парня?

Через двадцать секунд в казарму прибежали запыхавшиеся генералы и маршалы:

— Где курсант Солоухин?

Появился заспанный Володя Солоухин.

— Солоухин, — крикнули генералы, — есть у тебя заветное желание?!

Курсант, подумав, выговорил:

— Да я вот тут стихи пишу... Хотелось бы их где-то напечатать.

Через три недели была опубликована его первая книга — «Дождь в степи».

Шемякина я знал еще по Ленинграду. Через десять лет мы повстречались в Америке. Шемякин говорит:

— Какой же вы огромный!

Я ответил:

— Охотно меняю свой рост на ваши заработки...

Прошло несколько дней. Шемякин оказался в дружеской компании. Рассказал о нашей встрече:

«...Я говорю — какой же вы огромный! А Довлатов говорит — охотно меняю свой рост на ваш... (Шемякин помедлил)...талант!»

В общем, мало того, что Шемякин — замечательный художник. Он еще и талантливый редактор...

Когда-то я был секретарем Веры Пановой. Однажды Вера Федоровна спросила:

— У кого, по-вашему, самый лучший русский язык?

Наверное, я должен был ответить — у вас. Но я сказал:

— У Риты Ковалевой.

— Что за Ковалева?

— Райт.

— Переводчица Фолкнера, что ли?

— Фолкнера, Сэлинджера, Воннегута.

— Значит, Воннегут звучит по-русски лучше, чем Федин?

— Без всякого сомнения.

Панова задумалась и говорит:

— Как это страшно!..

Кстати, с Гором Видалом, если не ошибаюсь, произошла такая история. Он был в Москве. Москвичи стали расспрашивать гостя о Воннегута. Восхищались его романами. Гор Видал заметил:

— Романы Курта страшно проигрывают в оригинале...

Отмечалась годовщина массовых расстрелов у Бабьего Яра. Шел неофициальный митинг. Среди участников был Виктор Платонович Некрасов. Он вышел к микрофону, начал говорить.

Раздался выкрик из толпы:

— Здесь похоронены не только евреи!

— Да, верно, — ответил Некрасов, — верно. Здесь похоронены не только евреи. Но лишь евреи были убиты за то, что они — евреи...

У Неизвестного сидели гости. Эрнст говорил о своей роли в искусстве. В частности, он сказал:

— Горизонталь — это жизнь. Вертикаль — это Бог. В точке пересечения — я, Шекспир и Леонардо!..

Все немного обалдели. И только коллекционер Нортон Додж вполголоса заметил:

— Похоже, что так оно и есть...

Раньше других все это понял Юрий Любимов. Известно, что на стенах любимовского кабинета расписывались по традиции московские знаменитости. Любимов сказал Неизвестному:

— Распишись и ты. А еще лучше — изобрази что-нибудь. Только на двери.

— Почему же на двери?

— Да потому, что театр могут закрыть. Стены могут разрушить. А дверь я всегда на себе унесу...

Спивакова долго ущемляли в качестве еврея. Красивая фамилия не спасала его от антисемитизма. Ему не давали звания. С трудом выпускали на гастроли. Доставляли ему всяческие неприятности.

Наконец Спиваков добился гастрольной поездки в Америку. Прилетел в Нью-Йорк. Приехал в Карнеги-Холл.

У входа стояли ребята из Лиги защиты евреев. Над их головами висел транспарант:

«Агент КГБ — убирайся вон!»

И еще:

«Все на борьбу за права советских евреев!»

Начался концерт. В музыканта полетели банки с краской. Его сорочка была в алых пятнах.

Спиваков мужественно играл до конца. Ночью он позвонил Соломону Волкову. Волков говорит:

— Может, после всего этого тебе дадут «Заслуженного артиста»?

Спиваков ответил:

— Пусть дадут хотя бы «Заслуженного мастера спорта».

У дирижера Кондрашина возникали порой трения с государством. Как-то раз не выпускали его за границу. Мотивировали это тем, что у Кондрашина большое сердце. Кондрашин настаивал, ходил по инстанциям. Обратился к заместителю министра. Кухарский говорит:

— У вас большое сердце.

— Ничего, — отвечает Кондрашин, — там хорошие врачи.

— А если все же что-нибудь произойдет? Знаете, во сколько это обойдется?

— Что обойдется?

— Транспортировка.

— Транспортировка чего?

— Вашего трупа...

Дирижер Кондрашин полюбил молодую голландку. Остался на Западе. Пережил как музыкант второе рождение. Пользовался большим успехом. Был по-человечески счастлив. Умер в 1981 году от разрыва сердца. Похоронен недалеко от Амстердама.

Его первая советская жена говорила знакомым в Москве:

— Будь он поумнее, все могло бы кончиться иначе. Лежал бы на Новодевичьем. Все бы ему завидовали.

Хачатурян приехал на Кубу. Встретился с Хемингуэем. Надо было как-то объясняться. Хачатурян что-то сказал по-английски. Хемингуэй спросил:

— Вы говорите по-английски?

Хачатурян ответил:

— Немного.

— Как и все мы, — сказал Хемингуэй.

Через некоторое время жена Хемингуэя спросила:

— Как вам далось английское произношение?

Хачатурян ответил:

— У меня приличный слух...

Роман Яacobсон был косой. Прикрывая рукой левый глаз, он кричал знакомым:

— В правый смотрите! Про левый забудьте! Правый у меня главный! А левый — это так, дань формализму...

Хорошо валять дурака, основав предварительно целую филологическую школу!..

Якобсон был веселым человеком. Однако не слишком добрым. Об этом говорит история с Набоковым.

Набоков добивался профессорского места в Гарварде. Все члены ученого совета были — за. Один Якобсон был — против. Но он был председателем совета. Его слово было решающим.

Наконец коллеги сказали:

— Мы должны пригласить Набокова. Ведь он большой писатель.

— Ну и что? — удивился Якобсон. — Слон тоже большое животное. Мы же не предлагаем ему возглавить кафедру зоологии!

В Анн-Арборе состоялся форум русской культуры. Организовал его незадолго до смерти издатель Карл Проффер. Ему удалось залучить на этот форум Михаила Барышникова.

Русскую культуру вместе с Барышниковым представляли шесть человек. Бродский — поэзию. Соколов и Алешковский — прозу. Мирецкий — живопись. Я, как это ни обидно, — журналистику.

Зал на две тысячи человек был переполнен. Зрители разглядывали Барышникова. Каждое его слово вызывало гром аплодисментов. Остальные помалкивали. Даже Бродский оказался в тени.

Вдруг я услышал, как Алешковский прошептал Соколову:

— До чего же вырос, старик, интерес к русской прозе на Западе!

Соколов удовлетворенно кивал:

— Действительно, старик. Действительно...

Высоцкий рассказывал:

«Не спалось мне как-то перед запоем. Вышел на улицу. Стою у фонаря. Направляется ко мне паренек. Смотрит, как на икону: «Дайте, пожалуйста, автограф». А я злой, как черт. Иди ты, говорю...

...Недавно был я в Монреале. Жил в отеле «Хилтон». И опять-таки мне не спалось. Выхожу на балкон покурить. Вижу, стоит поодаль мой любимый киноактер Чарльз Бронсон. Я к нему. Говорю по-

французски: «Вы мой любимый артист...» И так далее... А тот мне в ответ: «Гет лост...» И я сразу вспомнил того парнишку...»

Заканчивая эту историю, Высоцкий говорил:

— Все-таки Бог есть!

Аксенов ехал по Нью-Йорку в такси.

С ним был литературный агент. Американец задает разные вопросы. В частности:

— Отчего большинство русских писателей-эмигрантов живет в Нью-Йорке?

Как раз в этот момент чуть не произошла авария. Шофер кричит в сердцах по-русски: «Мать твою!..»

Вася говорит агенту: «Понял?»

Рубин вспоминал: — Сидим как-то в редакции, беседуем. Заговорили о евреях. А Воробьев как закричит: «Евреи, евреи... Сколько этот антисемитизм может продолжаться?! Я, между прочим, жил в Казахстане. Так казахи еще в сто раз хуже!..»

Нью-Йорк. Захожу в русскую книжную лавку Мартьянова. Спрашиваю книги Довлатова и Уфлянда — взглянуть. Глуховатый хозяин с ласковой улыбкой выносит роман Алданова и тыняновского «Кюхлю».

Удивительно, что даже спички бывают плохие и хорошие.

В Лондон отправилась делегация советских кинорботников. Среди них был документалист Усыпкин. На второй день он исчез. Коллеги стали его разыскивать. Обратились в полицию. Им сказали:

— Русский господин требует политического убежища.

Коллеги захотели встретиться с беглецом. Он сидел между двумя констеблями.

— Володя, — сказали коллеги, — что ты наделал?! Ведь у тебя семья, работа, договоры.

— Я выбрал свободу, — заявил Усыпкин.

Коллеги сказали:

— Завтра мы отправляемся в Стратфорд. Если надумаешь, приходи в девять утра к отелю.

— Навряд ли, — произнес Усыпкин, — я выбрал свободу.

Однако на следующий день Усыпкин явился. Молча сел в автобус.

Ладно, думают коллеги, сейчас мы тоже промолчим. Ну а уж дома мы тебе покажем.

Долго они все гуляли по Стратфорду. Затем вдруг обнаружили, что Усыпкин снова исчез. Обратились в полицию. В полиции им сказали:

— Русский господин требует политического убежища.

Встретились с беглецом. Усыпкин сидел между двумя констеблями.

— Что же ты делаешь, Володя?! — закричали коллеги.

— Я подумал и выбрал свободу, — отвечал Усыпкин.

Лет двадцать пять назад я спас утопающего. Причем героизм мне так несвойственен, что я даже запомнил его фамилию — Сеппен. Эстонец Пауль Сеппен.

Произошло это на Черном море. Мы тогда жили в университетском спортлагере. Если не ошибаюсь, чуть западнее Судака.

И вот мы купались. И этот Сеппен начал тонуть. И я его вытащил на берег.

Тренер подошел ко мне и говорит:

— Я о тебе, Довлатов, скажу на вечерней поверке.

Я, помню, обрадовался. Мне тогда нравилась девушка по имени Люда, гимнастка. И не было повода с ней заговорить. А без повода я в те годы заговаривать с женщинами не умел. И вдруг такая удача.

Стоим мы на вечерней поверке — человек шестьсот. То есть весь лагерь. Тренер говорит:

— Довлатов, шаг вперед!

Я выхожу. Все на меня смотрят. Люда в том числе.

Тренер говорит:

— Вот. Обратите внимание. Взгляните на этого человека. Плавает, как утюг, а товарища спас!

«Пока мама жива, я должна научиться готовить...»

Критик П. довольно маленького роста. Он спросил, когда мы познакомились, а это было тридцать лет назад:

— Ты, наверное, в баскетбол играешь?

— А ты, — говорю, — наверное, в кегли?

Александр Глезер: — Господа, как вам не стыдно?! Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете!

В Союзе появилась рок-группа «Динозавры». А нашу «Свободу» продолжают глушить. (Запись сделана до 89-го года.) Есть идея — глушить нас с помощью все тех же «Динозавров». Как говорится, волки сыты и овцы целы.

Что будет, если на радио «Либерти» придут советские войска? Я думаю, все останется на своих местах. Где они возьмут такое количество новых халтурщиков? Сколько на это потребуется времени и денег?

Наш сын Коля в детстве очень любил играть бабушкиной челюстью.

Челюсть была изготовлена американским врачом не по мерке. Мать ее забраквала. Пошла к отечественному дантисту Сене. Тот изготовил ей новую челюсть. А старую мать подарила внуку. Она стала Колиной любимой игрушкой.

Иногда я просыпался ночью от ужасной боли. Оказывалось, наш сыночек забыл любимую игрушку в моей кровати.

Мы купили дом в горах, недалеко от Янгсвилла. То есть в довольно глухой американской провинции. Кругом холмы, луга, озера. Зайцы и олени дорогу перебегают. В общем, глушь.

Еду я как-то с женой в машине. Она вдруг говорит:

— Как странно! Ни одного чистильщика сапог!

Моя жена Лена — крупный специалист по унынию.

Арьев: «...Ночь, Техас, пустыня внемлет Богу...»

Оден говорил: — Белые стихи? Это как играть в теннис без сетки.

Как-то беседовал Оден с Яновским, врачом и писателем. Яновский сказал:

— Я увольняюсь из клиники. После легализации абортів мне там нечего делать. Я убежденный противник абортів. Я не могу работать в клинике, где совершаются убийства.

Оден виновато произнес:

— I could. (Я бы мог.)

К нам зашел музыковед Аркадий Штейн. У моей жены сидели две приятельницы. Штейну захотелось быть любезным. — Леночка, — сказал он, — ты чудно выглядишь. Тем более — на фоне остальных.

Парамонов говорил о музыковед Штейне: — Вот смотри. Гениальность, казалось бы, такая яркая вещь, а распознается не сразу. Убожество же из человека так и прет.

Алексей Лосев приехал в Дартмут. Стал преподавать в университете. Местные русские захотели встретиться с ним. Уговорили его прочесть им лекцию. Однако кто-то из новых знакомых предупредил Лосева:

— Тут есть один антисемит из первой эмиграции. Человек он неводержанный и грубоватый. Старайтесь не давать ему повода для хамства. Не сосредоточивайтесь целиком на еврейской теме.

Началась лекция. Лосев говорил об Америке. О свободе. О своих американских впечатлениях. Про евреев — ни звука. В конце он сказал:

— Мы с женой купили дом. Сначала в этом доме было как-то неуютно. И вдруг на территории стал появляться зайчик. Он вспрыгивал на крыльцо. Бегал под окнами. Брал оставленную для него морковку...

Вдруг из последнего ряда донесся звонкий от сарказма голос:

— Что же было потом с этим зайчиком? Небось подстрелили и съели?!

Когда «Новый американец» окончательно превратился в еврейскую газету, там было запрещено упоминать свинину. Причем даже в материалах на сельскохозяйственные и экономические темы. Рекомендовалось заменять ее фаршированной щукой.

Меттер говорил презираемой им сотруднице: — Я тебя выгоню и даже не получу удовольствия.

Дело происходило в газете «Новый американец». Рубин и Меттер страшно враждовали. Рубин обвинял Меттера в профнепригодности. (Не без оснований.) Я пытался быть миротворцем.

Я внушал Рубину:

— Женя! Необходим компромисс. То есть система взаимных уступок ради общего дела.

Рубин отвечал:

— Я знаю, что такое компромисс. Мой компромисс таков. Меттер приползает на коленях из Джерси-сити. Моет в редакции полы. Выносит мусор. Бегает за кофе. Тогда я его, может, и прощу.

Меттер называл Орлова: «Толпа из одного человека».

У Бори Меттера в доме — полный комплект электронного оборудования. Явно не хватает электрического стула.

Орлова я, как говорится, раскусил. В Меттере же — разочаровался. Это совершенно разные вещи.

В «Капитанской дочке» не без сочувствия изображен Пугачев. Все равно как если бы сейчас положительно обрисовали Берию. Это и есть — «милость к падшим».

Дело было лет пятнадцать назад. Судили некоего Лернера. Того самого Лернера, который в 69-м году был заметным активистом расправы над Бродским. Судили его за что-то позорное. Кажется, за подделку орденских документов.

И вот объявлен приговор — четыре года.

И тогда произошло следующее. В зале присутствовал искусствовед Герасимов. Это был человек, пишущий стихи лишь в минуты абсолютной душевной гармонии. То есть очень редко. Услышав приговор, он встал. Сосредоточился. Затем отчетливо и громко выкрикнул:

Бродский в Мичигане,
Лернер в Магадане!

Двадцать пять лет назад вышел сборник Галчинского. Четыре стихотворения в нем перевел Иосиф Бродский.

Раздобыл я эту книжку. Встретил Бродского. Попросил его сделать автограф.

Иосиф вынул ручку и задумался. Потом он без напряжения сочинил экспромт:

Двести восемь польских строчек
Дарит Сержу переводчик.

Я был польщен. На моих глазах было создано короткое изящное стихотворение. Захожу вечером к Найману. Показываю книжечку и надпись. Найман достает свой экземпляр. На первой странице читаю:

Двести восемь польских строчек
Дарит Толе переводчик.

У Евгения Рейна, в свою очередь, был экземпляр с надписью:

Двести восемь польских строчек
Дарит Жене переводчик.

Все равно он гений.
Помню, Иосиф Бродский высказался следующим образом:
— Ирония есть нисходящая метафора.
Я удивился:
— Что это значит — нисходящая метафора?
— Объясняю, — сказал Иосиф, — вот послушайте. «Ее глаза как бирюза» — это восходящая метафора. А «ее глаза как тормоза» — это нисходящая метафора.

Бродский перенес тяжелую операцию на сердце. Я навел его в госпитале. Должен сказать, что Бродский меня и в нормальной обстановке подавляет. А тут я совсем растерялся.

Лежит Иосиф — бледный, чуть живой. Кругом аппаратура, провода и циферблаты.

И вот я произнес что-то совсем неуместное:
— Вы тут болеете, и зря. А Евтушенко между тем выступает против колхозов...

Действительно, что-то подобное имело место. Выступление Евтушенко на московском писательском съезде было довольно решительным.

Вот я и сказал:
— Евтушенко выступил против колхозов...

Бродский еле слышно ответил:
— Если он против, я — за.

Разница между Кушнером и Бродским есть разница между печалью и тоской, страхом и ужасом. Печаль и страх — реакция на время. Тоска и ужас — реакция на вечность. Печаль и страх обращены вниз. Тоска и ужас — к небу.

Иосиф Бродский говорил мне: — Вкус бывает только у портных.
Для Бродского Евтушенко — человек другой профессии.

Конечно, Бродским восхищаются на Западе. Конечно, Евтушенко вызывает недовольство, а Бродский — зависть и любовь. Однако недовольство Евтушенко гораздо значительнее по размерам, чем восхищение Бродским. Может, дело в том, что негативные эмоции принципиально сильнее?..

Когда горбачевская оттепель приобрела довольно-таки явные формы, Бродский сказал: — Знаете, в чем тут опасность? Опасность в том, что Рейн может передумать жениться на итальянке.

Бродский говорил, что любит метафизику и сплетни. И добавлял: «Что в принципе одно и то же».

Врачи запретили Бродскому курить. Это его очень тяготило. Он говорил: — Выпить утром чашку кофе и не закурить?! Тогда и просыпаться незачем!

Шмаков говорил о Бродском:

- Мало того, что он гений. Он еще и весьма способный человек.
- Способный? Например, к чему?
- Да ко всему. К языкам, к автовождению, к спорту.

Иосиф Бродский любит повторять: — Жизнь коротка и печальна. Ты заметил, чем она вообще кончается?

Бродский обратился ко мне с довольно неожиданной просьбой:

— Зайдите в свою библиотеку на радио «Либерти». Сделайте копии оглавлений всех номеров журнала «Юность» за последние десять лет. Пришлите мне. Я это дело просмотрю и выберу, что там есть хорошего. И вы опять мне сделаете копии.

Я пошел в библиотеку. Взял сто двадцать (120!) номеров журнала «Юность». Скопировал все оглавления. Отослал все это Бродскому первым классом.

Жду. Проходит неделя. Вторая. Звоню ему:

— Бандероль мою получили?

— Ах да, получил.

— Ну и что же там интересного?

— Ничего.

Иосиф Бродский (на книге стихов, подаренной Михаилу Барышникову):

Пусть я — аид, а он — всего лишь — гой,

И профиль у него совсем другой,

И все же я не сделаю рукой

Того, что может сделать он — ногой!

О Бродском: «Он не первый. Он, к сожалению, единственный».

У Бродского есть дружеский шарж на меня. По-моему, чудный рисунок.

Я показал его своему редактору-американцу. Он сказал:

— У тебя нос другой.

— Значит, надо, — говорю, — сделать пластическую операцию.

Помню, раздобыл я книгу Бродского 64-го года. Уплатил как за библиографическую редкость приличные деньги. Долларов, если не ошибаюсь, пятьдесят. Сообщил об этом Иосифу. Слышу:

— А у меня такого сборника нет.

Я говорю:

— Хотите, подарю вам?

Иосиф удивился:

— Что же я с ним буду делать? Читать?!

Бродский: — Долго я не верил, что по-английски можно сказать глупость...

Бродский о книге Ефремова: — Как он решился перейти со второго абзаца на третий?!

Бахчаняна упрекали в формализме. Бахчанян оправдывался: — А что если я на содержании у художественной формы?!

Реклама фирмы «Мейсис». Предложение Бахчаняна: «Светит Мейсис, светит ясный!..»

Заговорили мы в одной эмигрантской компании про наших детей. Кто-то сказал:

— Наши дети становятся американцами. Они не читают по-русски. Это ужасно. Они не читают Достоевского. Как они смогут жить без Достоевского?

И все закричали:

— Как они смогут жить без Достоевского?

На что художник Бахчанян заметил:

— Пушкин жил, и ничего.

Бахчанян: «Гласность вопиющего в пустыне».

Как-то раз я сказал Бахчаняну:

— У меня есть повесть «Компромисс». Хочу написать продолжение. Только заглавие все еще не придумал.

Бахчанян подсказал:

— «Компромиссис».

Бахчанян предложил название для юмористического раздела в газете: «Архипелаг Гуд Лак!»

Шел разговор о голливудских стандартах. Вагрич Бахчанян успокаивал Игоря Гениса: — Да что ты нервничаешь?! У тебя хороший женский рост.

Бахчанян пришел на радио «Свобода». Тогда еще работали глушилки. Бахчанян предложил: — Все это можно делать заранее. Сразу же записывать на пленку текст и рев. Представляете, какая экономия народных денег!

Бахчанян говорил, узнав, что я на диете: — Довлатов худеет, не щадя живота своего.

Бахчанян говорил мне: — Ты — еврей армянского разлива.

Была такая на шумевшая история. Эмигрант купил пятиэтажный дом. Дал объявление, что сдаются квартиры. Желающих не оказалось. В результате хозяин застраховал этот дом и поджег.

Бахчанян по этому случаю высказался:

«Когда дом не сдается, его уничтожают!»

Владимир Яковлев — один из самых талантливых московских художников. Бахчанян утверждает, что самый талантливый. Кстати, до определенного времени Бахчанян считал Яковлева абсолютно здоровым. Однажды Бахчанян сказал ему:

— Давайте я запишу номер вашего телефона.

— Записывайте. Один, два, три...

— Дальше.

— Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять...

И Яковлев сосчитал до пятидесяти.

— Достаточно, — прервал его Бахчанян, — созвонимся.

Как-то раз я спросил Бахчаняна:

— Ты армянин?

— Армянин.

— На сто процентов?

— Даже на сто пятьдесят.

— Как это?

— Даже мачеха у нас была армянка...

Вайль и Генис ехали сабвеем. Проезжали опасный, чудовищный Гарлем. Оба были сильно выпившие. На полу стояла бутылка виски. Генис курил.

Вайль огляделся и говорит:

— Сашка, обрати внимание! Мы здесь страшнее всех!

Козловский — это непризнанный Генис.

Генис написал передачу для радио «Либерти». Там было множество научных слов — «аллюзия», «цезура», «консеквентный»... Редактор Генису сказал: — Такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают лишь доценты МГУ.

Как-то сказал я в редакции Генису:

— Нехорошо, если Шарымова поедет в типографию одна. Да еще вечером.

На что красивый плотный Генис мне ответил:

— Но мы-то с Петькой ездим, и всегда одни.

Наш босс пришел в редакцию и говорит:

— Вы расходуете уйму фотобумаги. Она дорогая. Можно делать фото на обычном картоне?

Генис изумился:

— Как?

— Очень просто.

— Но ведь там же специальные химические процессы! Эмульсионный слой и так далее...

Босс говорит:

— Ну хорошо, попробовать-то можно?

Как-то Сашу Гениса обсчитали в бухгалтерии русскоязычной нью-йоркской газеты. Долларов на пятнадцать. Генис пошел выяснять недоразумение. Обратился к главному редактору. Тот укоризненно произнес:

— Ну что для вас пятнадцать долларов?.. А для нашей корпорации это солидные деньги.

Генис от потрясения извинился.

Генис и злодейство — две вещи несовместные!

Загадочный религиозный деятель Лемкус говорил: — Вы, Сергей, постоянно шутите надо мной. Высмеиваете мою религиозную и общественную деятельность. А вот незнакомые люди полностью мне доверяют.

Загадочный религиозный деятель Лемкус был еще и писателем. Как-то он написал:

«Розовый утренний закат напоминал грудь молоденькой девушки».

Говорю ему:

— Гриша, опомнитесь. Какой же закат по утрам?!

— Разве это важно? — откликнулся Лемкус.

Лемкус написал: «Вдоль дороги росли кусты барышника...»

И еще: «Он нахлобучил изящное соломенное канапе...»

У того же Лемкуса в одной заметке было сказано:

«Как замечательно говорил Иисус Христос — возлюби ближнего своего!»

Похвалил талантливого автора.

Знакомый режиссер поставил спектакль в Нью-Йорке. Если не ошибаюсь, «Сирано де Бержерак». Очень гордился своим достижением.

Я спросил Изю Шапиро:

— Ты видел этот спектакль? Много было народу?

Изя ответил:

— Сначала было мало. Пришли мы с женой, стало вдвое больше.

Изя Шапиро часто ездил в командировки по Америке. Оказавшись в незнакомом городе, первым делом искал телефонную книгу. Узнавал, сколько людей по фамилии Шапиро живет в этом городе. Если таковых было много, город Изе нравился. Если мало, Изю охватывала тревога. В одном тexasском городке, представляясь хозяину фирмы, Изя Шапиро сказал:

— Я — Израиль Шапиро!

— Что это значит? — удивился хозяин.

Братьев Шапиро пригласили на ужин ветхозаветные армянские соседи. Все было очень чинно. Разговоры по большей части шли о величии армянской нации. О драматической истории армянского народа. Наконец хозяйка спросила:

— Не желаете ли по чашечке кофе?

Соломон Шапиро, желая быть изысканным, уточнил:

— Кофе по-турецки?

У хозяев вытянулись физиономии.

Изя Шапиро сказал про мою жену, возившуюся на кухне: — «И все-таки она вертится!..»

Звонит приятель Изе Шапиро:

— Слушай! У меня родился сын. Придумай имя — скромное, короткое, распространенное и запоминающееся.

Изя посоветовал:

— Назови его — Рекс.

Нью-Йорк. Магазин западногерманского кухонного и бытового оборудования. Продавщица с заметным немецким акцентом говорит

моему другу Изе Шапиро:

— Рекомендую вот эти «гэс овенс» (газовые печки). В Мюнхене производятся отличные газовые печи.

— Знаю, слышал, — с невеселой улыбкой отозвался Изя Шапиро.

Мать говорила про величественного и одновременно беззащитного Леву Халифа: «Даже не верится, что еврей».

Лев Халиф — помесь тореадора с быком.

Одна знакомая поехала на дачу к Вознесенским. Было это в середине зимы. Жена Вознесенского, Зоя, встретила ее очень радушно. Хозяин не появлялся.

— Где же Андрей?

— Сидит в чулане. В дубленке на голое тело.

— С чего это вдруг?

— Из чулана вид хороший на дорогу. А к нам должны приехать западные журналисты. Андрюша и решил: как появится машина — дубленку в сторону! Выбежит на задний двор и будет обсыпаться снегом. Журналисты увидят — русский медведь купается в снегу. Колоритно и впечатляюще! Андрюша их заметит, смутится. Затем, прикрывая срам, убежит. А статьи в западных газетах будут начинаться так:

«Гениального русского поэта мы застали купающимся в снегу...»

Может, они даже сфотографируют его. Представляешь — бежит Андрюша с голым задом, а кругом российские снега.

Какой-то американский литературный клуб пригласил Андрея Вознесенского. Тот читал стихи. Затем говорил о перестройке. Предваряя чуть ли не каждое стихотворение, указывал:

«Тут упоминается мой друг Аллен Гинзберг, который присутствует в этом зале!»

Или:

«Тут упоминается Артур Миллер, который здесь присутствует!»

Или:

«Тут упоминается Норман Мейлер, который сидит в задних рядах!»

Кончились стихи. Начался серьезный политический разговор. Вознесенский предложил — спрашивайте. Задавайте вопросы.

Все молчат. Вопросов не задают.

Тот снова предлагает — задавайте вопросы. Тишина. Наконец поднимается бледный американский юноша. Вознесенский с готовностью к нему поворачивается:

— Прошу вас. Задавайте любые, самые острые вопросы. Я вам отвечу честно, смело и подробно.

Юноша поправил очки и тихо спросил:

— Простите, где именно сидит Норман Мейлер?

Приехал из Германии Войнович. Поселился в гостинице на Бродвее. Понадобилось ему сделать копии. Зашли они с женой в специальную контору. Протянули копировщику несколько страниц. Тот спрашивает:

— Ван оф ич? (Каждую по одной?)

Войнович говорит жене:

— Ирка, ты слышала? Он спросил: «Войнович?» Он меня узнал! Ты представляешь? Вот это популярность!

Молодой Андрей Седых употребил в газетной корреспонденции такой оборот: «...Из храма вынесли огромный ПОРТРЕТ богородицы...»

Андрей Седых при встрече интересовался:

— Скажите, как поживает ваша жена? Она всегда такая бледная. Мы все за нее так переживаем. Как она?

Я отвечал:

— С тех пор как вы ее уволили, она живет нормально.

Заболел старый писатель Родион Березов. Перенес тяжелую операцию. В русскоязычной газете появилось сообщение на эту тему. Заметка называлась: «Состояние Родиона Березова».

Там же появилась информация:

«Случай на углу Бродвея и Четырнадцатой. Шестилетняя девочка, ехавшая на велосипеде, СВАЛИЛАСЬ под мчавшийся автобус...»

В заметке чувствуется некоторое удовлетворение.

В той же газете: «На юге Франции разбился пассажирский самолет. К СЧАСТЬЮ, из трехсот человек, летевших этим рейсом,

погибло двенадцать!»

Заголовок в той же газете: «Забастовка собаки».

Рекламное объявление там же: «За небольшие деньги имеете самое лучшее: аборт, противозачаточные таблетки, установление внематочной беременности!»

Траурное извещение: «ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ кончина Гарри Либмана».

Знаменитый артист Борис Сичкин жил в русской гостинице «Пайн» около Монтиселло. Как-то мы встретились на берегу озера. Я сказал:

— Мы с женой хотели бы к вам заехать.

— Отлично. Когда?

— Сегодня вечером. Только как мы вас найдем?

— Что значит — как вы меня найдете? В чем проблема?

— Да ведь отель, — говорю, — большой.

Сичкин еще больше поразился:

— Это как прийти в Мавзолей и спросить: «Где здесь находится Владимир Ильич Ленин?»

Сичкин попал в автомобильную катастрофу. Оказался в госпитале. Там его навестил сын Эмиль. И вот они стали прощаться. Эмиль наклонился, чтобы поцеловать отца. Боря ощутил легкий запах спиртного. Он сказал:

— Эмиль, ты выпил. Я расстраиваюсь, когда ты пьешь.

Сын начал оправдываться:

— Папа, я выпил один бокал шампанского.

Боря тихим голосом спросил:

— Что же ты праздновал, сынок?

Едем как-то в машине: Сичкин, Фима Берзон, жена Берзона — Алиса и я. Берзон — лопоухий, маленький и злобный. Алиса говорит Сичкину:

— Ответьте мне, Боря, как это женщины соглашаются работать в публичных домах? Обслуживают всех без разбора. Ведь это так негигиенично! И никакого удовольствия.

Сичкин перебил ее:

— Думаешь, они так уж стараются? Всем отдаются с душой? Ну, первый клиент еще, может быть, туда-сюда. А остальные у них там идут, как Фима Берзон!

Лет тридцать назад Евтушенко приехал в Америку. Поселился в гостинице. Сидит раз в холле, ждет кого-то. Видит, к дверям направляется очень знакомый старик: борода, измятые штаны, армейская рубашка.

Несколько секунд Евтушенко был в шоке. Затем он понял, что это Хемингуэй. Кинулся за ним. Но Хемингуэй успел сесть в поджидавшее его такси.

— Какая досада, — сказал Евтушенко швейцару, — ведь это был Хемингуэй! А я не сразу узнал его!

Швейцар ответил деликатно:

— Не расстраивайтесь. Мистер Хемингуэй тоже не сразу узнал вас.

Рассказывают, что на каком-то собрании, перед отъездом за границу, Евтушенко возмущался:

— Меня будут спрашивать о деле Буковского. Снова мне отдуваться? Снова говно хлебать?!

Юнна Мориц посоветовала из зала:

— Раз в жизни объяви голодовку...

Юнна Мориц в Грузии. Заказывает стакан вина. Там плавают мухи.

Юнна жалуется торговцу-грузину. Грузин восклицает:

— Где мухи — там жизнь!

Алешковский рассказывал: — Эмигрант Фалькович вывез из России огромное количество сувениров. А вот обычной посуды не захватил. В результате семейство Фалькович долго ело куриный бульон из палехских шкатулок.

Алешковский уверял: «В Москве репетируется балет, где среди действующих лиц есть Крупская. Перед балериной, исполняющей эту роль, стоит нелегкая хореографическая задача. А именно, средствами пластики выразить — базедову болезнь».

Томас Венцлова договаривался о своей университетской лекции: — У меня есть три разные лекции. За одну я беру триста долларов. За вторую — двести пятьдесят. За третью — сто. Но эту, третью, я вам не рекомендую.

В Нью-Йорке гостил поэт Соснора. Помнится, я, критикуя Америку, сказал ему:

— Здесь полно еды, одежды, развлечений, и — никаких мыслей!

Соснора ответил:

— А в России, наоборот, сплошные мысли. Про еду, про одежду и про развлечения.

Оказался я в больнице. Диагноз — цирроз печени. Правда, в начальной стадии. Хотя она же вроде бы и конечная. После этого мои собутыльники на радио «Либерти» запели:

Цирроз-воевода дозором
Обходит владенья свои...

Сцена в больнице. Меня везут на процедуру. На груди у меня лежит том Достоевского. Мне только что принесла его Нина Аловерт. Врач-американец спрашивает:

— Что это за книга?

— Достоевский.

— «Идиот»?

— Нет, «Подросток».

— Таков обычай? — интересуется врач.

— Да, — говорю, — таков обычай. Русские писатели умирают с томом Достоевского на груди.

Американец спрашивает:

— Ноу Байбл? (Не Библия?)

— Нет, — говорю, — именно том Достоевского.

Американец посмотрел на меня с интересом.

Когда выяснилось, что опухоль моя — не злокачественная, Лена сказала: — «Рак пятится назад...»

Вышел я из больницы. Вроде бы поправился. Но врачи запретили мне пить и курить. А также настоятельно рекомендовали ограничивать себя в пище. Я пожаловался на все это одному знакомому. В конце говорю:

— Что мне в жизни еще остается? Только книжки читать?!

Знакомый отвечает:

— Ну, это пока зрение хорошее...

Диссидентский романс: «В оппозицию девушка провожала бойца...»

Волков начинал как скрипач. Даже возглавлял струнный квартет. Как-то обратился в Союз писателей:

— Мы хотели бы выступить перед Ахматовой. Как это сделать?

Чиновники удивились:

— Почему же именно Ахматова? Есть и более уважаемые писатели — Мирошниченко, Саянов, Кетлинская...

Волков решил действовать самостоятельно. Поехал с товарищами к Ахматовой на дачу. Исполнил новый квартет Шостаковича.

Ахматова выслушала и сказала:

— Я боялась только, что это когда-нибудь закончится...

Прошло несколько месяцев. Ахматова выехала на Запад. Получила в Англии докторат. Встречалась с местной интеллигенцией.

Англичане задавали ей разные вопросы — литература, живопись, музыка.

Ахматова сказала:

— Недавно я слушала потрясающий опус Шостаковича. Ко мне на дачу специально приезжал инструментальный ансамбль.

Англичане поразились:

— Неужели в СССР так уважают писателей?

Ахматова подумала и говорит:

— В общем, да...

Миша Юпп сказал издателю Поляку:

— У меня есть неизвестная фотография Ахматовой.

Поляк заволновался:

— Что за фотография?

— Я же сказал — фото Ахматовой.

— Какого года?
— Что — какого года?
— Какого года фотография?
— Ну, семьдесят четвертого. А может, семьдесят шестого. Я не помню.
— Задолго до этого она умерла.
— Ну и что? — спросил Юпп.
— Так что же запечатлено на этой фотографии?
— Там запечатлен я, — сказал Юпп, — там запечатлен я на могиле Ахматовой в Комарове.

Миша Юпп говорил своему приятелю:
— Ко мне довольно часто являются за пожертвованиями. Но выход есть. В этих случаях я перехожу на ломаный английский.
Приятель заметил:
— Так уж не старайся.

Гриша Поляк был в гостях. Довольно много ел. Какая-то женщина стала говорить ему:
— Как вам не стыдно! Вы толстый! Вам надо прекратить есть жирное, мучное и сладкое. В особенности сладкое.
Гриша ответил:
— Я, в принципе, сладкого не ем. Только с чаем.

Блюмин рассказывал, как старая эмигрантка жаловалась мужу:
— Где моя бывлая грация? Где моя бывлая грация?
Муж отвечал:
— Сушится, Феничка, сушится.

К нам зачастили советские гости. Иногда — не очень близкие знакомые. В том числе и малосимпатичные. Все это стало мне надоедать. Мама бодро посоветовала:
— Объясни им — мать при смерти.
Лена возражала:
— В этом случае они тем более заедут — попрощаться.

Эмигрантка в Форест-Хиллсе: — Лелик, если мама говорит «ноу», то это значит — «ноу»!

В Ленинград приехала делегация американских конгрессменов. Встречал их первый секретарь Ленинградского обкома Толстиков. Тут же состоялась беседа. Один из конгрессменов среди прочего заинтересовался:

— Каковы показатели смертности в Ленинграде?

Толстиков уверенно и коротко ответил:

— В Ленинграде нет смертности!

Беседовал я с одним эмигрантом. Он говорил среди прочего:

— Если б вы знали, как я люблю телячий студень! И шашлыки на ребрышках! И кремовые пирожные! И харчо!

— Почему же, — спрашиваю, — вы такой худой?

— Так ведь я кушаю. Но и меня кушают!

Самый короткий рассказ:

«Стройная шатенка в кофточке от «Гучи» заявила полной блондинке в кофточке от «Лорда и Тейлора»:

— Надька, сука ты позорная!»

Зашла к нашей матери приятельница. Стала жаловаться на Америку. Американцы, мол, холодные, черствые, невнимательные, глупые... Мать ей говорит:

— Но у тебя же все хорошо. Ты сыта, одета, более или менее здорова. Ты даже английский язык умудрилась выучить.

А гостья отвечает:

— Еще бы! С волками жить...

Произошло это в грузинском ресторане. Скончался у молоденькой официантки дед. Хозяин отпустил ее на похороны. Час официантки нет, два, три. Хозяин ресторана нервничает — куда, мол, она подевалась?! Некому, понимаешь, работать...

Наконец официантка вернулась. Хозяин ей сердито говорит:

— Где ты пропадала, слушай?

Та ему в ответ:

— Да ты же знаешь, Гоги, я была на похоронах. Это же целый ритуал, и все требует времени.

Хозяин еще больше рассердился:

— Что я, похороны не знаю?! Зашел, поздравил и ушел!

Моя жена научилась водить автомобиль. Приобрела минимум технических знаний. Усвоила некоторое количество терминов. И особенно ей понравился термин «wheel alignment» (выравнивание колес, центровка). Она с удовольствием произносила:

— Надо бы сделать вил элаймент... Вил элаймент — это главное...

Как-то раз мы вспоминали одного человека. Я сказал:

— У него бельмо на глазу.

Моя жена возразила:

— Это не бельмо. Это что-то другое. Короче, ему надо сделать вил элаймент.

Бахчанян сообщил мне новость: — Лимонов перерезал себе вены электрической бритвой!

Сложное в литературе доступнее простого.

Романс диетолога:

И всюду сласти роковые,
И от жиров защиты нет...

Романс охранника:

В бананово-лимонном Сыктывкаре...

Серманы были в Пушкинском театре. Показывали «Бег» с Черкасовым. Руфь Александровна страшно переживала. Особенно ее потряс Черкасов в роли генерала Хлудова. Она говорила мужу:

— Что с ним будет? Что с ним будет?

Илья Захарович ответил:

— А что с ним будет? Дадут очередную сталинскую премию.

Сорок девятый год. Серман ожидает приговора. Беседует в камере с проворовавшимся евреем. Спрашивает его:

— Зачем вы столько крали? Есть ли смысл?

Еврей отвечает:

— Лучше умереть от страха, чем от голода!

Томашевский и Серман гуляли в Крыму. Томашевский рассказывал:

«В тридцатые годы здесь была кипарисовая аллея. Приехал Сталин. Стал жить здесь на даче. Охрана решила, что за кипарисами могут спрятаться диверсанты. Кипарисовую аллею вырубili. Начали сажать эвкалиптовые деревья. К сожалению, они не прижились...»

— И что же в результате?

Томашевский ответил:

— Начали сажать агрономов...

У Аксенова заболели почки. Саша Перуанский рассказывал:

— Я решил позвонить Васе. Подошла Майя. Я начал очень деликатно: «Вася еще подходит к телефону?» Подошел Вася. Я говорю ему: «Не падай духом, старик. У меня был рак почки. Доктор сказал, что года не протяну. В результате почку мне удалили. Я стал импотентом. Но прожил уже четыре года...»

Перуанский закончил:

— Вася так приободрился!

У советского композитора Покрасса был родственник — американский композитор Темкин. Покрасс сочинял кавалерийские марши. Темкин — музыку к голливудским фильмам.

Известно, что Сталин очень любил кино. И вот был однажды кремлевский прием. И Сталин обратился к Дмитрию Покрассу:

— Правда, что ваш брат за границей?

Покрасс испугался, но честно ответил:

— Правда.

— Это он сочинил песенки к «Трем мушкетерам»?

— Он.

— Значит, это его песня — «Вар-вар-варвар-вара...»?

— Его.

Сталин подумал и говорит:

— Лучше бы он жил здесь. А вы — там.

Блок отличался крайней необщительностью. Достаточно сказать, что его ближайший друг носил фамилию — Иванов.

Меркантилизм — это замаскированная бездарность. Я, мол, пишу ради денег, халтуру и так далее. В действительности халтуры не существует. Существует, увы, наше творческое бессилие.

Один эмигрант вывез из Союза прах нелюбимой тещи. Объяснил это своим принципиальным антибольшевизмом. Прямо так и выразился: — Чтобы не досталась большевикам!

Все интересуются, что там будет после смерти? После смерти начинается — история.